

*Светлой памяти
Наталии Валерьевны Моралевой
посвящается*

1. РЫБНИК

У

му непостижимо! Первая осень в тайге, да еще с братом...

Как сейчас помню предотъездные дни: Старшой, избегался-иссобирался до такой низкой и сизой облачности в лице, что даже монументальный Таган, серый кобель западносибирской лайки, сидя на цепи и сдерживая предпромысловую дрожь, несолидно поскуливал на метания хозяина со шлангами и канистрами.

Облачность на лице Старшого грозила колючей крупкой. Он пробежал к тракторенку, жгуче дыхнув на меня черемшой, а дальше все походило на какую-то панику, запой. Громождевание ящичков, канистр, мешков из так называемой «стекляшки», мягкой пластиковой пленки... Плоская, как лапша, нитка, если порвется и расплетется, то необыкновенно противно цепляется за углы ящичков, железяки и оказывается неожиданно крепкой, пружинящей.

В телеге такой мешок, туго и бугристо набитый капканами, навалился на железную печку,

свежеваренную, с зубастыми необтертыми углами, с синей окалиной и заусенцами. Мешок зацепился, и когда на берегу его уванул Дяа Стас, здоровенный старшовский шуряк, то выдралась дыра с мочалом ниток. Вывалился капкан и волочился на привязчивой жилине. Мой брат в ней запутался, а Старшой с грозовой синью в очах рыкнул: «Помощнички!» и тут же улыбнулся, но как-то постепенно, мутно-солнечно, начиная с глаз. Он помог брату выпутаться, а капкан бросил в лодку, но тот не долетел и, гулко ударив в борт, упал в воду. Старшой его достал и положил на бортовую доску-протопчину. Синеватый чуть в копоть и чуждо пахнувший фабрикой, он холодно горел в осеннем серебряном свете. На сальной от смазки тарелочке кругло лежали капли. Сомкнутые дуги молчали.

Все, наконец, оказалось загруженным в деревянную длинную лодку, и мы с братом, не веря счастью, уже сидели на носу среди груза, я — на железной печке, а брат на сундуке, и восторженно вдыхали пряный осенний воздух. Десятками запахов говорили эти берега, травяной прелью, полынной и тальниковой горечью. Когда лодку догонял ветер, нас обдавало масляной гарью мотора, а из сундука несовместимо сочился запах рыбного пирога.

Едва Старшой оказался за румпелем, лицо его окончательно разъяснилось, и последнее рваное облачко раздражения уже не делало погоды: сухое и крепкое лицо ровно и одухотворенно горело осенним солнцем.

В перекате на меляке буквально под бортом торопливо занырнул-исчез крохаль¹. Вытянув шею, я увидел его совсем рядом и поразился, как помещенный в тонкий пласт воды, он, плоско изменившийся, уверенно и тягуче-гибко выгребал крыльями, и как, преображенные изумрудной водой, ярко горели на них белые зеркала.

Таган сидел в самом носу, нервно и величественно вдыхая ветер. Мы ехали в каком-то тихом восторге, и только в узком и скалистом месте, где начался порог с пенным косым валом, стало неудобно и захотелось слиться с лодкой, сравняться с бортами, обратиться в какой-нибудь плоский бак или рулон рубероида. Брат нарочито громко зарассуждал об осенних запахах, которые богаче весенних именно из-за «этой перепрелости», а потом вдруг спросил, нравится ли мне Николь. Я пожал плечами. Во-первых, она мне совершенно не нравилась, а во-вторых, вся эта Николь нисколько не шла окружающей обстановке. Особенно с ее напружиненными кудрями и с идиотическим именем.

На третий день к вечеру мы были на месте. Часть груза предполагалось увезти вверх, а часть оставить здесь — на базе, состоящей из просторной избы, бани и снегоходного гаража. Особенно впечатлил нас лабаз для рыбы и прочей добычи, на четырех ногах. Ноги его были обернуты полиэтиленом.

«Чтоб мыши не залезли!» — догадался я. И мы с братом хохотали, представляя, как смешно срываются мыши, перебирая лапками и пища от возмущения.

Молодость есть молодость. Старшой сосредоточенно подсчитывал, сколько батареек и пулек пойдет в какую избушку, и помощи от нас не требовал: подозреваю, даже хотел, чтобы мы не мешались. А мы и не лезли: привыкшие к плоскому Енисею, мы никак не могли оторвать глаз от волнистых гор, от реки, какой-то необыкновенно ладной, совершенной в каменных своих стенах...

Уже стемнело. Почернели берега. Река шумела с пространной задумчивой мощью, каждый камень, каждый скальный обломыш давал пенный завиток течения, и шум складывался из сотен таких завитков и стоял сплошь. Мы прогулялись вверх до ручья и, развернувшись, остановились. Старшой копался у груза. Мелькал льдисто-голубой налобный фонарь, и в нарождающемся туманчике мутно-дымно продлялся, клубисто креп и длиннел его луч. Старшой что-то доставал,

¹ Крохаль — порода широко распространенной в таёжных реках рыбацкой утки.

перекладывал. Потом вдруг побежал вниз к лодке, и оттуда остро пахнуло бензином. Видно, поставил наливать бензин для генератора и замешкался, разбирая груз, а он перелился. Потом ушел в избушку. Все это выяснилось, когда мы подошли. Картина была следующей: край брезента откинут с сундука. А рядом на бочке картонный ящик с рыбником.

— Опа... — пожившись, сказал брат. — Ну, чо. Все вроде сделали. Доехали. Да, Серый?

— Ну я думаю, да...

— Эх, давно ли я так вот мечтал... С братом... Слушай, — он с силой втянул воздух. — Ммм... Я прямо *чувствую* эту осень. Знаешь, у некоторых вечно... «надо втянуться, присмотреться...» Будто бояться, что не сдюжат. А я уже знаю — сдюжу! Потому что мое!

— Утром точно заморозок будет! Звезды такие... Прямо мороз по коже...

— Ну. Праздник. Знаешь... Эта даль, эти запахи, и... этот пирожнице. И звезды... Пирог и звезды! Угощайся, друга.

— По-моему, нельма.

— Ну. Обалденный. Все-таки тетка Светлана первоклассно стряпает.

— Ну. Ць-ць-ць...

— Тут еще со стерлядкой!

— Да ты чо? Давай его сюда.

— Не жрамши с утра.

— Да понятно. Старшой-то перехватил, поди.

— И не раз. Он в лодке из термоса пил. Ну, давай!

— И из фляжки тоже, хэ-хэ. Так что ни бэ. Не обидит себя. Хрящики классные...

Совсем стемнело, подстыло и тянул ночной хиусок из горного ручья. Дым от костра и избушки совсем положило на берег, и он смешался с туманом. Пахло теплом, жильем и речным берегом. Отяжелелые от впечатлений и ужина мы с братом не спеша поднялись к избушке, чувствуя, как подбирается к телу молодой сон.

Раннее сонно-темное утро выдернуло меня из будки мощным рывком старшой руки и громовым окриком: «Ну, и как рыбничек?» Я тут же был посажен на цепочку и одновременно отлуплен. Братец было ломанул наутек, но Старшой настолько грозно вскричал: «Рыжик, падла, стоять!», что тот упал, как подстреленный, и пополз, прижав уши. «Будешь по ящикам шариться, козел?! Будешь?!» Рыжика подцепили, и он тут же, кругло поджав задок и опустив хвост промеж ног, юркнул в кутух.

Бил Старшой больно, но грамотно — толстым прутом по окорочкам. Ляжки горели. Я посмотрел на Тагана. Тот очень тихо сидел, высунув нос из будки, и почти слившись с ней, и с местностью, а когда Старшой, словно нам в укор, отпустил его, невозмутимой трупсой и будто по делу отбежал в лес. Таган умудрялся сохранять невозмутимость в любых обстоятельствах и даже в случае наказания умел выражать своим видом полную правоту и еще и выставлять хозяина в несдержанном и дерганом виде.

Теперешняя невозмутимость Тагана была абсолютно фальшивой, ибо означала, что мы негодяи, а он молодец, и ни *в жись* не съел бы рыбник, хотя вся его заслуга заключалась лишь в том, что он с вечера был посажен на цепь, чтоб не удрал с утра шариться по тайге и нас не увел. И я *абсолютно* уверен, что, окажись он на берегу, то моментально отобрал бы у нас пирог, сожрал его, а виноватыми оказались бы мы, семимесячные щенки-первоосенки. А он бы царственно сидел в кутухе, и нам бы его ставили в пример.

2. КАПКАНЫ НА НАС

Хочу теперь остановиться на таком важнейшем, краеугольном явлении в собачьей жизни, как *постановка капканов на собак*. Именно так и никак иначе. Беду лучше предупредить. Лучше небольшая неприятность сразу, чем полная неправивимость потом.

Вечером Старшой нас отвязал и как-то особенно приветно-заманисто и демонстративно-наглядно стал вдруг ставить капкан под кедрой: сделал из колышков загородку, оставив узкую тропку для алчущего. Поставил капкашек, еще один, еще — а к дереву в глубь сооружения положил настолько великолепный кусок рябчиного задка, что я неуправляемо облизнулся. Старшой тайно и приговаривал, мол, видишь, нельзя-я сюда, и вроде как все-таки: «Ну, попробуй-попробуй, ну...» Потом то же самое сделал у елки в прошлогодней такой же печурке, и я увидел, как сглотнул Рыжик, глядя на вторую половинку задка. Таган не смотрел и был непроницаем.

Покормили нас как-то подозрительно неизобильно, хотя каша была хороша: овсянка с отличной вареной щукой, с разлившимся нутряным жиром и с хайрюзовыми головами. Думаю, Старшой сам бы ее с удовольствием попробовал. Кстати, однажды он сварил себе и нам по одинаковой кастрюльке рыбы, и запутался, где чье. Кончилась крупа для заправки «собачьего»: где-то мы встряли весной со Старшим, на каком-то острове, еще маленькие... С мыслями-воспоминаниями о том походе я и заснул. А проснулся ночью от обострившегося запаха рябчиной гущи. Меня буквально прошило радостным открытием: бывает, мы себе напридумываем на ровном месте запретов, а они... Вот давай, Серый, рассудим: ведь нас наказали за то, что мы сбросили с бочки и открыли ящик. Он был упакованный, и это означало, что не про нашу честь. Согласен полностью. За то мы и получили. По первое число. Тут другая история: рябчик лежит *на полу*, как говорят охотники, и без упаковки, а значит является предметом общего пользования, как бы выразился грамотный Рыжик. От этого открытия... прямо темнота расступилась. Надо тихо-тихо, чтоб не разбудить Рыжика... Почему-то в таких случаях не хочется, чтобы видели... Не потому что затеваешь недоброе, а потому что опасешься припозориться, если неправильно управишься. Только поэтому. В общем, я осторожно подошел к печурке и наступил...

Я думал, что без конца упоминаемые мною в этой истории капканы — это такие же обожаемые Старшим железяки, как пилы, цепи, ключи, винты-болты и прочие в кавычках дружья человека, а значит, и наши... И тому, что капканы сейчас как-то слишком плоско растопырены — не придавал ни малейшего значения. Я наступил на самый краешек дужки, и капкан наклонился, лапа с него соскочила и он подпрыгнул и хлопнул дужками так, что искра вылетела и запахло кремнем (знаю этот запах: видел, как Старшой показывал сыну Никитке такую искру). Я отскочил, как ужаленный, не ожидав такого выпада — эффектного, смешного и бессильного одновременно: ясно, что капкан мне ничего не сделает — какого размера я и какой он?! Только пугнет, нашумит. И я замер, прислушиваясь, не разбудил ли Рыжика или, неровен час, Тагана? Было тихо, и я, осторожно ступая, вернулся в свой кутух. Но... сна не было. Снова попытался вспомнить, как чуть не перепутали вареную щуку... Таган, рассказывал такую же историю, только с мясом. Два одинаковых котла... Тоже не было крупы, где-то их льдом заперло... «Льдом-льдом»... — передразнил я сам себя. Какой лед и какой сон, когда у тебя все мысли у этого капкана. Ты — собака! Не сдаваться. Трудное начало — признак удачного продолжения. Не впервой! Главное — не наступать на край капкана, чтоб он не скосбочился и не склацал на все Хорогочи.

Я снова подошел к печурке и наступил точно на середину следующего капка-

на — на его ровную гладкую тарелочку. Остриящая боль обожгла лапу, но страшнее боли была неожиданность. Оглушительный визг вырвался из моей пасти. Я попытался сбросить капкан, попытался бежать, но держало крепко — капкан был привязан к колышку. Попытался грызть — не ожидал, что металл такой мерзкий, холодный и кислый, хотя Старшой и выварил капкан в пихте... В отчаянии укусил лапу! Почему капкан не отпускает? Страшней всего непонятное! Ладно бы тяпнул и отпустил. У нас-то ведь удар — укус. По крайней мере первый, предупреждающий. А этот держит. И чуть дернешься — такая боль, что в глазах мутнеет.

Из избушки не спеша вышел Старшой с налобным мертвенным фонариком. Несмотря на мои крики о помощи, которые я показательно усилил при его появлении, он не торопился и даже замешкался под навесом избушки. Зная пристрастие Старшого к механизмам, я решил, что он ищет какое-то приспособление, какой-нибудь очередной «капканный ключ-освободитель на две-тысячи-пятьсот-четыре на семьсот семь хромо-ванадий». Но как рухнуло сердце, когда он подошел, и я увидел в его руке знакомый прут. Самое дикое, что Старшой присел на корточки рядом со мной и еще несколько минут, которые показались вечностью, объяснял, что нельзя-я-я так делать, что, мол, вот посиди, посиди, и что это лучше, чем пойти на варежки... Так и сказал. На варежки. Потом отстегал меня и сжал пружину крепкой кистью. Подобрал лапу, я пристыженно унесся в кутух.

Заснуть не мог часа полтора, очень болела лапа. Наконец задремал, но тут же проснулся от визга. Визг так же длился минут пять, пока не подошел Старшой, и все не повторилось. Я не выдержал и, опустив хвост, убежал в лес. Вернулся через часок, когда рассвело и Старшой разбирал сеть на вешалах... Накрапывал дождь. Собаки на редкость непамятозлюбные, и пока я гулял, настроение поправилось. Если час назад поведение Старшого и осознанная тягучка с моим освобождением казались верхом предательства, то теперь я обрадованно завиллял хвостом. «Что, капканщик, набегался?», — полугрозно сказал Старшой, и я уткнулся ему в колени. «Ну, все-все», — говорил Старшой справедливым голосом. А потом с улыбкой... с облегчением: «Ничо, все нормально будет... заживе-е-ет лапа... заживе-е-ет...»

Вот тут-то я и проснулся по-настоящему от щелчка и легкого взвизга. В воздухе так же пахло кремнем от капкашка, который своротил и рассторожил Рыжик, смущенно скрывшийся в соседнем кутухе. Я уже не спал окончательно, но разговаривать не хотелось, и я притворился спящим. Подозреваю, что Рыжик делал то же самое. Сна не стало вовсе. Не потому, что мне хотелось услышать, как попадется Рыжик. А просто не было. С огромным трудом я нагнал на себя полудрему и вдруг услышал шевеление, трусцу по утоптанной земле вокруг избушки и удаляющийся шорох по мху, прихваченному ночным морозцем. Чуть светало, и я увидел, как Рыжик осторожно, как-то особенно мелко рыся, приблизился к печурке и аккуратно поставил в нее лапу, потом, видимо, другую, (еще было плохо видно), а потом проснулся внутрь и высунулся обратно с чем-то в зубах, а потом оглянулся и, быстро отбежав, повалился на мох, и раздалось аккуратное чавканье.

Вскоре проснулся Старшой и первым делом заглянув во вторую печурку, процедил грубое слово, подошел в Рыжику, проговорил: «Л-л-ладно. Я те устрою. Суконец». Меня порадовало, что он правильно определил нарушителя и не подумал, что это я второй раз полез: доверие. Потом Старшой положил приваду и снова все насторожил.

Вечером Старшой наставил еще кучу капканов, присыпал пером и положил очень пахучей привады. Ночью раздался оглушительный перещелк капканов, топот Старшого и звуки погони. И истошный визг Рыжика. Я от греха отбежал на бережок.

3. КЛЯТВА

Я в вере не силен, но знаю твердо — у картин тоже есть душа. Об одной из таких картин расскажу.

Рыжик так и не попался. Тогда Старшой взъярился, схватил Рыжего в охапку, притащил к печурке, ткнул лапой в капкан и оставил сидеть орущего. Я, по обыкновению, удалился на бережок.

Потом мы довольно быстро развезли груз по береговым избушкам и вернулись на базу — лили дожди. Ни зверя, ни птицы мы не видели. Единственное стоящее и поучительное происшествие называлось «банки с повидлом». Точнее «разбитые банки с повидлом». Размок картонный ящик, и Старшой при разгрузке разбил несколько стеклянных банок. Как сейчас помню — две с повидлом: яблочным и сливовым. Одна с томатной пастой. И одна с кабачковой икрой. Икра казалась беззащитно-бледной в осеннем стальном свете... А осколки с зеленоватыми гранями — особенно жестокими и досадными...

Мы с Рыжиком стояли рядом, катастрофически не зная, что делать с этим нелепым месивом. Таган сказал очень уверенно:

— Да спокойно можно исъ. Ничо не будет. Вообще не обрежешься. Смотрите: мастер-класс. Короткий ход языка. Вот так вот. И вся недолга. Хорошее повидло, кстати. Вот так вот... Р-р-рээ, р-р-рээ...

— Кхе-кхе... Дядя Таган... Вы это... Не увле... — пролепетал Рыжик. — Разрешите отработать прием?

— А-а, — с недоумением прервался Таган — ну давайте...

Оказалось, можно, абсолютно не рискуя поранить язык, съесть все повидло, просто очень аккуратно облизав каждый осколочек. И пасту тоже. Да. И икру. Хорошо, когда с юности везет с наставником.

Настала ясная погода, и в первый же утренник Старшой повез нас за птицей. Глухарь по осени вылетает на бережок добрать мелких камешков. В его желудке они перетирают кедровую хвою.

Раз уж зашло про желудки: до чего красиво устроено все живое!

Люблю смотреть, как Старшой разделяет глухаря...

Прошу запомнить эту фразу! Она покажет, насколько причудливо преломляется слово собачье по отношению к человеку. Так вот, люблю смотреть, как он работает — руки двигаются быстро и необыкновенно точно, и, кажется, все — и печенька, и сердце, и кишочки — само разлетается по кучкам. А посуда — чашки, тазы, вроде такое женское, кухонное, а, попадая в рабочие руки, — будто мужает. Старшой топориком на чурке отрубает крылья, и мягкое пуховое перо остается на изрубленной иссеченной плоскости, вмятым, влипшим в тонкую расселинку от лезвия. Вот по перу разрезает крепкую грудь, раздвигает пупырчатую шкуру, и лилово открываются две могучие мышцы-пластины в желтой обкладке жира. Вот в несколько движений — шкура с пером снята, и словно ложкой вычерпнут пятерней плотно уложенный, фиолетовый ком кишочков... И вот Старшой берет и разрезает тугой, темно-красный желудок — жгутно-утянутый мясной узел с перевязью белой жилы, разрезает его по самой жильной скрутке, и нож, углубясь, нет-нет да и чиркнет сухо по камешкам. Камешки — белый прозрачный кварц, маленькие, как рисинки, овальненькие с вмятинками, точечками. Лежат в кедровой хвое, чудно настриженной глухариним клювом. Стенки желудка ребристые, в мелкую насечку... (вынужден применить сравнение) как кошачье небо... (куда деваться — правда превыше политики!) И все это круговое небо — лилово-малиновое от ягодного сока и будто бархатное. Так что... влажный полупрозрачный кварц. Малиновый бархат. Зеленъ хвои...

«А ну, нельзя смотреть! Давай чеши отсюда. Кому говорю! Но!..»

Собак гонят с кухни, от разделочных столов и прочих важнейших мест с роковой какой-то силой... Голодные глаза никому не нравятся. «Подбери слюни!» — лучшая награда за такие наблюдения.

На утренники собак и берут, и не берут. Не берут, чтоб не орали из лодки на всю реку на глухарей. Правда, привязанные у избушки и оставленные, они еще пуще орут, и тишайшим утром изводит охотника хоровой отчаянный лай, слитый эхом в одну запевную ноту. В лодке ли, у избушки собак привязывают часто. Цепочек не напасешься, поэтому привязка — обычная капроновая веревка с петлей. Петлю натягивают на наши морды так, что те становятся особенно клиновидными, кулькообразными, а глаза — раскосыми, черные же углы рта оттягиваются необыкновенно тонко и глупо. Уши прижимаются, и получается комично китайское, лисье выражение, у Рыжика особенно смешное: у него крепкие бакенбарды, стоящие торчком, — а без них голова совсем узкая и маленькая.

Привязки так и лежат в лодке, и у будок-собачниц или, по-нашему, кутухов. Я специально остановился на привязках, потому что к ним привязано, простите за каламбур, одно неотрывное от собачьей жизни понятие — *отгедание*. Но не в кормовом плане — не будьте наивными: это нам не грозит.

Итак, стекляннейшее утро после неизведнейшей ночи. Иней по рыжим листьягам, по берегам-причалам из сыпучего темно-розового камня. Потом, когда выйдет солнце — седина оплавится. Листвяги оплачутся, и красные причалы станут малиново-мокрыми.

Но вот Старшой позвал, и мы, сшибая друг друга и Старшого, снарядами выпрыгнули в лодку, да так радостно, что я даже выпрыгнул обратно на берег и снова запрыгнул в лодку, за что был обруган и получил с берега пинка. Пинок был бесполезный ввиду моей скорости, так что ногу Старшой выбросил вхолостую и еле удержал равновесие. Все равно — как заряжающий пнул бы снаряд. Камни были заледенелые, и Старшой чуть не упал, как-то неудачно извернулся, и у него вступило в спину. За что я был обруган дополнительно. Снаряд — это огромная пуля, для справки. Матчасть знаем.

Таган решил и здесь показать мастер-класс, успев пробежаться по берегу и вернуться секунда в секунду с нашим отплытием. Выпрыгнул он виртуознейше — движение не описать, но все в нем — мощь и грация, мягкий тугой топот, изгиб тела, поджатие задних лап в момент пролетания над лодочным бортом.

Нас прицепили кульково на веревки, и мы двинулись. Прежде на носу царил Таган, а теперь туда определили меня. Чтобы лучше видеть, слышать и обонять, я старался залезть подальше-повыше, пытаюсь лапами удержаться на наклонном бруске носовила², синем от изморози и скользком. Привставал, и дрожали поджилки на задних лапах, а мне все казалось, что надо еще выше вдвинуться-ввинтиться в осенний воздух. Старшой сбавлял газ и сдавленно, чтоб не шуметь, рычал: «Ты чо там мостисся? Чо мостисся!» И грозил шестом, но дотянуться не мог. Я пуще вытягивался и перебирал дрожащими лапами по носовилу и чем больше перебирал, тем выше возносился над упругой рекой. Старшой сделал резкое движение румпелем, лодка рысканула, лапы, уже протопившие пятно на дереве, соскользнули, и я полетел в воду. Вместо того, чтобы остановиться и вытащить, Старшой продолжал невозмутимо волочь меня вверх по шиверке. Я бултыхался, хрипел, и когда казалось: все — задушил, он остановился и вытащил меня — жалко похудевшего, трясущегося. Облепленного мокрой шерстью, холодящей, липнущей,

² Носовило — так сибирские лодочные мастера называют форштевень. Шпангоуты именуется упругами, а центральная донная доска — донницей. Сказолюбивый пёс сидел на плоскости носовила, обращённой внутрь лодки.

тяжеленной... «Ну чо? Понял, как на носу сидеть!» А я чо понял? Мне б отряхнуть! И вот круговой фонтан искрящейся пыли во все стороны! И мокрый Старшой машет руками: «Ты, дождевальное устройство, я те чо — грядка!» А смысл науки таков: привычка моститься на носу может стоить собаке жизни — в серьезном пороге ее уже не выудить: хозяин не бросит румпель. А болтанка такая, что сорвешься в два счета.

Поворот открыл первозданнейшую длинную гору с отвесными столбами-перьями и щеточкой редколесья поверху. Выходило солнце и налило таким густым и ярким светом посеребренные лиственницы, что и в душе все зазолотилось, а еще говорят, у собак черно-белое зрение! Рыжик засиял вовсе медно, и вдруг я увидел, как он... Подбираю слово: мелко, смешно, по-разгиляйски, нецеленоправлено, неосновательно. Все не то... Будто шутя. Будто между делом чавкая, жамкая, кусая... Комично пыжа голову книзу... Будто пытаюсь укусить себя за шею и смешно разевая рот, мусолит веревку-привязку. И уже почти переел ее. В эту же секунду раздался окрик Старшого, совмещенный с ударом песта по рыжиковой спине. Для справки: пест — универсальный инструмент управления судами и собаками.

Несмотря на алмазнейший утренник, никаких событий, кроме моего купания и отъезда Рыжика, не произошло. Видно, утренник был чересчур образцовым, и это смутило глухариное руководство. Возможно, показательный блеск выглядел слишком внешним, искусственным и направленным на внешний эффект. А может, птицу смутил небольшой ветерок. Старшой не унывал и, пойдя назад самосплавом, кидал спиннинг. Рыжик очень смешно наклонил голову и крутил ею, глядя на цветные камни, проносящиеся под водой, и насмешил Старшого, взлаяв на ленка, который неожиданно высоко выпрыгнул, когда его тащили.

Окончательно пригрело. Река вдруг оглубела и расширилась перед скальным сужением. Старшой достал из рюкзака термос, копченого сига в газете. Мы ожились.

— Чо занюхтели?

Таган отвернулся и еле заметно сглотнул.

Рыжик тоже отвернулся, но мгновенно голова его возвратилась, как на резинке:

— Слюни подбери! — рыкнул Старшой и, увидев большой взмыр под берегом, схватил спиннинг и начал бесконечное метание блесны, тупее чего может быть только высмотр сетей.

Мы совсем разомлели на солнце, и Таган даже несколько раз ловил клонящуюся свою голову, а потом положил ее на лавку и замер, прикрыв глаза. Только пошевеливались в разные стороны уши и ходили ходуном резные клапанки на мокром черном носе. Несильный порыв ветра сдул с лавки газету, и она упала под нос Рыжику. Рыжик ее понюхал и, вдруг замерев над ней, задекламировал:

— Хм... Во-ло... кон-ный интернет...

— На волах, что ль? — проворчал, не открывая глаз, Таган. Это было хоть какое-то развлечение.

— На конях, — в тон ему бросил и я, очень уж хотелось мне заслужить уважение.

— Узи у «Зины» недорого.

— Чего? — сонно спросил Таган.

— О! Вот это интересно! — взбодрился Рыжик: — Слушайте. Комплект обуви для собак. Четыре ботинка. Предназначен для всех сезонов и любых поверхностей. Используются технологии, и-ден-тичные производству высококачественной трековой спортивной обуви для человека. Незаменимы для ездовых и тянущих пород собак, так как имеют манжеты с застежкой, надежно фиксирующие обувь на лапах. Подошвы из известных патентованных материалов «грибтрекс»...

— Из грибов, что ль, делают? — сострил я.

— Да лан тут колхоз ломать. Наверняка хорошая штука. Мне Николь расска-

зывала. Короче! Не проскакивают и надежно защищают от наста, льда, веток и острых камней. Делают процесс переобувания комфортным. Конические манжеты надежно держат обувь на лапе...

— Швами еще хуже натрешь! — пробурчал я.

— Незаменимы, когда есть породный боковой коготь.

— Прибылой палец, что ль? — Таган презрительно фыркнул.

— Наверно.

— Дак его наоборот удаляют. А то лапу порвешь лоскутом... И — мяу. Совсем охренели... Нормальное почитай чо-нибудь.

— Между прочим, в Голландии... коготок у собаки не дадут без ее согласия состричь! Кх-кхе... Так вот... Они, ну ботинки эти, также пригодятся... — Мне казалось, что Рыжик даже поддразнивает Тагана, и что он зря это делает. — Они также пригодятся для повышения мобильности... пожилых собак (Рыжик быстро глянул на Тагана) и собак с проблемными лапами. — И прочитал с особенным выражением: — Яркая со светоотражающими вставками обувь делает вашу собаку нарядной и заметной в любое время суток.

— На хрена заметной?! — не поверил я.

— Охлаждающий инно... вазионный жилет двойного действия помогает собаке сохранить оптимальную температуру тела при любой температуре окружающей среды... Достаточно смочить жилет водой, отжать и одеть на собаку...

— «Надеть» вообще-то по-русски, — сказал я.

— Задницу им бы отжать! — поддержал Таган.

— Рюкзак для собак «Полисад-пак» с карманами для двух бутылок воды...

— Прекрати! — взвизгнул я.

— Да вы чо!? — буркнул Старшой.

— Каждой собаке, — заходился от восторга Рыжик, — после прогулки и прочей активной деятельности нужен отдых и местечко, где никто ей не мешает предаваться сладким снам и воспоминаниям, где можно удобно вытянуть уставшие лапы или, наоборот, уютно свернуться клубком. Предлагаем потрясающий лежак для ваших питомцев!.. А чо — нормально! Туалет для питомцев... — вскричал Рыжик, — представляет собой эстетическое приспособление... с выдвижным ящиком и лопаткой в комплекте...

— Их бы самих этой лопаткой... по комплекту... — еще ниже проворчал Таган и закрыл глаза...

— Легко переносится благодаря улучшенной декоративной ручке. Теперь туалет не надо прятать в ванной. Его можно размещать в любом месте, и он везде будет вызывать восхищение своим удобством, красотой и функциональностью. А уж как котя будет рад! У него будет свой укромный уголок, скрытый от посторонних взглядов...

— Ай-яй-яяяяй! — закричал Рыжик, потому что Таган, молниеносно хватнув Рыжика за окорок, улегся, возмущенно ворча:

— Т-те устрою лежак...

Рыжик, пряча глаза, скулил.

— Одурил, старый? — рявкнул Старшой на Тагана, и тот втянул голову, зажурился и плоско вжал глаза. Старшой погладил Рыжика, который беспомощно перевернулся на спину и стал лизать Старшому руку. Видна была выступающая грудина и два завитка шерсти на уровне передних лап — на границе рыжего и бежевого. И передние лапы — сложенные углами и болтающиеся. А Старшой говорил образцово-воспитательным низким голосом.

— Рыжик. Ну, Ры-ыжик. Ну, ла-а-адно тебе, ла-а-адно...

Приближались пороги, и Старшой спустил их на моторе, а ближе к избушке стащил с наших шей петли. Если *туда* петля надевалась «по течению», смешно

уменьшая, удлиняя и косоглазя голову, то теперь, когда петлю протаскивали против шерсти — то мешали уши и шкура собиралась складками и комично давила на лоб, на глаза. Рыжик топырился и только натягивал петлю, затрудняя освобождение.

При подъезде к берегу мы отработали «выпрыг с носа» — важный элемент пилотирования, вызывающий у начинающих собак массу нареканий. Река наша горная, мелкая и особенно каменистая у берега. Старшому надо быстро причалить в точное место, заглушить и поднять мотор и, перебравшись на нос, выпрыгнув, удержать с берега лодку. Меж двух камней и целил Старшой. Мы заходились дрожью на носу и, засидевшиеся, мечтающие пронестись по берегу, изготовились к прыжку. Когда уже было рядом — сиганули, оттолкнувшись от лодки и сломав ей курс так, что она наехала на камень, а на нас обрушился целый камнепад эпитетов.

Ночью я снова влетел в капкан, а Рыжик снова ухитрился безнаказанно сожрать приваду. Он запустил³ два капкана, сдвинув их вбок лапой и не то стряся, не то как-то еще рассторожив. «Нда... — сказал Старшой с задумчивым холодком. — А я смотрю, ты умный... Не зна-а-ю...»

Следующее утро выдалось седым, хмурым с промозглинкой и со сквозной какой-то серебряностью... В первом же повороте на длинном галечнике гнутыми головешками сидели глухари, штук семь. Они были настолько замершими и непохожими на живых существ, что когда, черные, медленно покачиваясь и вертикально задрав головы, пошли к траве, то их зачаровывающая медлительность буквально разорвала наши глотки восторженно-возмущенным лаем. Пахло от них невозможно — почему-то печенкой, переваренной хвоей и какой-то кислинкой! Старшой выпустил нас, и мы, подняв брызги, рванули на галечник. Глухари взлетели и, рассевшись на прибрежные листьяги, замерли черными почками.

...Боюсь, не описать того *чувство дела*, которое объяло меня с головой, едва я облаял первого в жизни глухаря, и которое объяснило мое предназначение, одавив проблеском откровения, речь о коем впереди...

При всем азарте я шкурой ощущал, как внимательно смотрит Старшой на мои движения, как присутствует, оценивает, осознает происходящее, подправляет негромким словом и что-то сам себе помечает. Я понял, что мы — очень важное звено чего-то, связывающего Старшого и его семью с окружающей нас огромной тайгой. Что вместе мы представляем необъятный организм, многократно превышающий в размерах Старшого и состоящий со Старшим в странных и старинных отношениях. Будто шевельнулись какие-то ваги, жердины мощнейшие между глухарем и камешком, Старшим и мной, мной и глухарем. Когда я думаю об этих вагах, сизых гудящих сушинах, меня аж мутить начинает, и что-то во мне защитно сбивается, ограждая от лишнего знания, от которого я замру, окаменею, иль вовсе на куски разлетится моя бедная собачья голова.

О существовании этих длинных и гулких сил, простирающихся во все стороны тайги, реки и неба, говорил особенный, подправляющий и одобряющий вид Старшого. Так же он шел с неводом, так же оглядывал возведенный сруб, так же ехал зимой в город, и стрела зимника была в тысячи раз больше его тарахтящей машины.

Это новый образ Старшого мы ощущали и когда он выпускал нас из лодки, и когда забрел в лес и шел к нам, и мы слышали, как осторожно ступает он по траве, по мерзлому, кровельно-грохочущим мху, в который нога человека проваливает-

³ Запустить — закрыть, захлопнуть. Более широко — привести в нерабочее состояние. Как корова в запуске закрывает подачу молока.

ся, оставляя печатные дырки с вертикальными рваными стенками. И когда он подходил, прячась за столбы, отставая за елкой, и выглядывал, шатаясь-двигаясь телом, а потом стрелял и подбегал, чтобы в пылу мы не истрепали, не раздербанили глухаря... и разговаривал с нами совсем другим голосом — словно что-то невидимо-новое нарождалось, строилось, струилось, и мы были в центре надежды.

Но чем яснее становилось, что именно Старшой этим невидимым управляет, тем незначительней, незаметней он помогал происходящему и будто только присутствовал, тем сильнее оно само работало и простиралось в сложнейшие дали — точно так же, как уходил-простирался в небомачтовый листваг с черным силуэтом на выгнутой ветви.

Потом еще были глухари. А потом Старшой решил, как обычно «разок шваркнуть пиннинг», а потом помаленьку с этим «пиннингом» ушел до мыска... А мы бесились, рыча, и носились по нежно-желтой сухой траве, очень прямой и вертикально-острой, и пропахли ею невозможно, а потом помчались вверх в хребет, откуда кисло-печеночно нанесло птицей, и взмыли на высоченную гору с гранеными столбами. А потом выбрались на покрытую ягелем бровку, поросшую крепкими кедриками и остроконечными пихточками, среди которых особенно чудно гляделись сухие — пепельно-серые и будто костяные. Мы замерли, затаив дыхание, хотя это было и нелегко — бока ходили ходуном и языки жарко свисали из разинутых пасть. А замереть было от чего...

Темной-синие горбатые сопки, о существовании которых мы и не подозревали, с тучевой грозностью восстали со всех сторон, а внизу, с какой-то поразительной, счастливой наглядностью открылся поворот с лодкой, широченный серп галечника и крохотная фигура Старшого.

Поразила река, плавно ползущая под уклон сизо-серебряной шкурой в водоворотах и шершаво-свинцовых пятнах ряби. Ее тягучая плоскость меняла угол в каждой точке и, устремляясь меж каменных мысов к порогу, неумолимо и мощно ускорялась, растягивалась пятнами и гравюрно темнела складками от каждого камня. Далеко внизу пролетел глухарь, казавшийся сверху особенно сизым. Летел он, очень часто и книзу маша крыльями, мощно и коротко вспархивая, а потом мгновенно замирая в планировании. Застыл — и новая череда взмахов и долгое планирование на острых, плугообразно выгнутых крыльях. Даль была такая совершенная и настолько... крупно-насыщенная, что дух захватило от пережитого, и мы долго стояли рядом... в одной волне, в одной... счастливой поре... ощущая с небывалой силой, что мы братья. И что все, открытое нам — от дальней горы до фигурки Старшого — наше, и мы, объятые одним делом, нужны и себе, и дали, и, главное, Старшому. Переполненные, мы заговорили наперебой обрывками мыслей, чувств:

— Вот это вид!

— Здесь даже ветер по-другому дует!

— И пахнет... — сказал Рыжик: — Ой, как хорошо! — И вдруг глянул на меня в упор: — Ты вообще понял?

— Что понял? — настоужился я.

— Что *он* без нас не может...

— Старшой-то?

— А кто же еще-то? Серый — отдельно сказал Рыжик: — Серый, ты понимаешь? Мне раньше казалось, что мы без него пропадем, а ведь, оказывается, и ему без нас... мяу.

— Да? Тебе тоже так показалось? Рыжий! Ведь вот как бывает! Еще недавно, кто мы были? Щенчишки... А теперь у нас свое дело. Давай, брат, ты знаешь. Давай вместе как залаем за это!

— Давай!

И мы дали.

— Да лан, не ори, — сказал я, отдышавшись, кедровке, усевшейся на сушину.

— Да ей завидно!

— Да, Рыж, действительно, надо сейчас что-то очень важное сказать друг другу... И вот этому простору... Смотри, Таган, по-моему, норку гоняет...

— Да где?

— Да вон, в курье⁴ за лодкой!

— Точно! Без нас, главное!

— От одноворец! Хе-хе!

— Ну. Да кэшно это важно, когда у тебя есть любимое дело, понимаешь... У нас есть все... И все так начинается...

— Мы собаки! И нам надо сказать...

— Свое слово...

— Сказать себе и друг другу, что будем собаками до конца... Давай троекратно залаем за наше собачье дело, нашу охоту...

— Наш промысел!

— Промысел! Разницу чуешь?

— А как же!

— За нашу тайгу — что будем беречь ее, охранять...

— Ававав!

— В такой денек, да в таком месте чо не лаять!

— Ававав!

— Авававав!

— Брат! Перед этой тайгой... Давай пообещаем выполнять наше собачье дело, как выполняли наши отцы и деды... так сказать, пра-собаки... Быть верными и бескорыстными.

— Да! — с жаром сказал Рыжик. — И не забывать! Что мы не просто собаки! А то щас много развелось... В городах есть собаковидные, которые живут в благоустроенных, понимаешь, квартирах, едят магазинную курятину, которую делают из кур, которых кто-то за них облаивает! Которых за их хозяев кто-то добывает... А мы не прячемся за спины, понимаешь, мы на переднем краю... Помнишь, Старшой говорил, что у балконных лаек лапа ластой! А у нас комком.

— Да чо ты все время себя сравниваешь?! Сам будь кем надо! Как Таган! Как, помнишь...

— Помню... Дай скажу!

— Нет, дай я!

— Ну говори!

— Нет, ты говори!

— А чо я хотел?

— Не знаю! Забыл! Ха-ха-ха!

— Давай просто полаем!

— Давай! Ававав!

— Да! Дак вот пройдет год, и еще много будет ошибок, а они будут! Обязательно будут... И я подумал, когда-то Таган так же стоял на этом просторе...

— И я подумал!

— Мы оба подумали! И мы сейчас стоим здесь... Я подумал! Пройдет год, и на следующую осень мы будем так же здесь стоять... И я хочу, чтобы нам было не стыдно за то...

— Что будет в этом году!

⁴ Курья — каменистый залив.

- Да! В таком неизвестном...
- Что сердце аж сжимается от неизвестности, до того все прекрасно!
- И мы должны всегда помнить, что это наша даль...
- И что у нас лапы комком! — крикнул Рыжик и залился на всю округу.

4. ПРОМЫСЕЛ НАЧАЛСЯ

Потом все заварилось плотно и ярко, сливаясь в алмазно-сине-рыжее месиво льда, воды и закатов, и не помню, сколь раз надевали на кулек Рыжиковой морды петлю, сколь раз сдирали обратно против шерсти и сколь раз сбивали мы с курса лодку во время швартовки. Потом добыли оленя, в котором нам понравилось все, кроме того, что он не стоит под собаками, и про которого Таган сказал: «Ничто так бычок. Но сохат есть сохат!» А потом вернулись уже по снегу, Старшой вытащил лодку, и промысел начался. Из приизбушечных событий ярких запомнились два.

Утром в сумерках с той стороны прилетел глухарь и с грохотом взгромоздился на елку над избушкой. Мы взлаяли, а Старшой в трусах и калошах вышел и добыл глухаря из «тозовки». Нас дико насмешило все: и дурак-глухарь, сослепу вломившийся в наше расположение, и Старшой в трусах и с «тозовкой». Хохотали, пока Таган не рявкнул:

— Э, кони, хорош ржать. Вы бы с евоное отпахали в тайге, а потом бы хаха ловили.

Таган разговаривал рублено и резко. И слова будто обранивал. Не в смысле браниться, а в смысле ронять. При таких собеседниках — что ни скажи, а дураком будешь. Допустим, Таган обронит:

— На востоке соболь пошел.

— Правда? — пискнем мы.

— А чо не правда... — буркнет Таган возмущенно-презрительно, да так, что ты виноват по уши, раз не веришь и переспрашиваешь. И басовито с рычинкой добавит: — Раньше в это время здесь по ручью-ю Аян-покойничек по пять соболей в день загонял... Правда, я грю, тогда и собаки были... Аян рассказывал: Деа Вова, старшовский отец, одних токо щенков до пяти особ на промысел брал. А оставлял одного! — и видя наши полные смятения глаза, говорил с напором: — Но зато это собаки были... Хрен ли лаять... — Досадливо-разочарованное «А щас...» уже и не требовалось. Хотелось слиться с подстилкой.

Когда Таган заговаривал про деда Вову, у него немедленно появлялось выражение «одного токо»: дед «одного токо омоля по три ванны на замет брал», «одной токо кислицы по сорок ведер сдавал», или «одних токо веников по семьдесят дружек заготавливал». Дружка, кто не знает — это пара веников, связанных веревочкой.

Таган за словом в карман не лез. Если кто-то говорил: «Да брось ты», он рявкал: «Как брось, так и подними», а если не соглашались, мол, «Ну, конее-е-ешно», то передразнивал: «Конюшня».

Старшого он уважал, у них были свои долгие отношения, и то, как они общались — полунамеками, в касанье — отдельного слова стоит. Сидели у костра возле избушки, Старшой помешивал собачье в тазу и что-то говорил негромкое лежащему у ног Тагану, а тот чуть пошевелил хвостом и чуть прижимал уши. А Старшой клал руку на голову Тагану и поглаживал-почесывал выпуклый шов на собачьем лбу. Ребро жесткости, как выразился как-то Рыжик. Мы умирали от зависти — привязанный Рыжик аж зевал со скулиной. Есть такое собачье проскуливание в зевке. Открыть рот будто для зевка, а дальше зевок растянется то-о-о-онким, очень высоким скулежом, и, выходит, скулинка заменяет зевок и вроде дол-

жна уже в лай перейти. Ан нет — в зевок и возвращается. Это происходит, когда мы нервничаем. Такое «у-аааааа»...

Чувствую, что вы сами начнете зевать со скулиной... Поэтому, закругляя до поры тему Старшово-Таганской дружбы, скажу, что понимали они друг друга с полуслова, и на развилке лыжни Таган всегда знал, куда пойдет Старшой, хотя для порядка и оборачивался. А как Старшой смотрел на Тагана в работе! Когда, примчавшись с огромной скоростью, тот с налету совал нос в соболиные следы, взрезая снег, или свирепо вгрызался в подножие кедрины, так что летели корни, пахнущие грибами и прелью. Этим любовался не только Старшой. Рыжик же просто сглатывал.

Как я говорил, первым событием был глухарь и выход Старшого в трусах, а ко второму плавно перехожу через кутух.

Старшой сделал нам новый двухквартирный кутух — длинную будку из бревешек с двумя входами и перегородкой — живи не хочу. У каждого своя площадь, но надо знать собак: мы тут же влезли вместе в правый отсек — сначала я, потом Рыжик. А потом в левый — сначала Рыжик, потом я. Рычали, толкались и так и жили то вдвоем, то порозь. Попеременке.

Иногда Рыжик ложился рядом с дверью избушки под навесом, за что Старшой его звал «теплопопым», считая, что Рыжика привлекает тепло из-под двери. Хотя, возможно, ему хотелось оказаться первым, когда Старшой вынесет объеденную грудину глухаря или рыбы кости. Рыжик належал себе даже преддверную круглую вмятину в грунте, где, свернувшись клубком, то припружинивался к маневрам Старшой в зимовье, то дремал, а то вдруг начинал, напряженно вздев морду и натянув углы рта, чесаться и стучать лапой по бревну или косяку. На что Старшой отвечал неизменным: «Кто там? Наши все дома». А когда приоткрывал дверь выпустить жар, то Рыжик вставал и вдвигал в избушку сначала морду, потом шею, а потом и сам вдвигался и стоял, виляя хвостом, долбя им по косяку, на что Старшой говорил: «Избушку срубись».

Толкаться у двери зимовья под навесом мы оба любили, и однажды, играя, весело заедааясь и колготаясь, своротили пустой ящик. По нему Рыжик залез на лабазок и взял кусок масла с дощечки, на которой лежал еще и примерзший мало-сольный сиг. Рыжик-то схватил масло, но дощечка упала и грохотнула. Старшой выскочил и все понял, хотя Рыжика и след простыл. Старшой положил кусок привады на то же место и пододвинул поудобней ящик. На следующий вечер Рыжик лежал-лежал, а потом внезапно и ни слова не говоря сорвался и мелкой самоуглубленной трусцой подтрусил к ящику, встал на него задними лапами и, опершись передними о полку лабаза, аккуратно взял приваду. К ней Старшой привязал крышку от бидона, и она грохнула. Рыжик отпрыгнул и, слыша, как Старшой нашаривает калоши, соскочив с нар, удрал подальше.

Третье событие произошло не у избушки, а в тайге. Был у нас длинный и нелегкий день, ходили по путику-тупику, возвращаясь своей лыжней. Едва Старшой развернулся в сторону избушки, Рыжик учесал домой. В стороне от лыжни Таган облаял глухаря, и мы задержались, а возвращаясь, не доходя до избушки, обнаружили Рыжика попавшим в капкан. Как сейчас помню — второй номер, Старшой ставил их на лису, росомаху и песка, когда тот подходил с тундры. «Оголодал! — прорычал Старшой. — Полтора километра не дотерпел! Заблюдник...» Когда Старшой попытался освободить брата, тот стал истерически кусаться, и Старшой снял сукодную куртку и, накинув ему на морду, освободил лапу.

Это из неприятного. А, конечно, самым главным и долгожданным событием стали наши первые соболя.

Самого первого облаял Таган. Когда мы с братом подбежали, все вокруг кедров было истоптано, и захода соболя я не понял, как и картины вообще. Соболишка

попался тайкий (люблю это слово) и никаких признаков жизни не подавал. Движения воздуха были таковы, что запаха зверька я не ощущал. У меня было два выхода: ничего не поняв, залаять вслед за Рыжиком заодно с Таганом, либо не торопиться и разобраться самому. К тому же у меня обостренное чувство чужих заслуг, и мне не хотелось ни к кому примазываться. Хотя, как выяснилось, одно дело принципы, другое — чувства. Подошел Старшой и, чтобы нас затравить, выстрелил рядом с сободем по ветке.

Зрение у собак на третьем месте после нюха и слуха. Но когда я увидел качнувшиеся ветви и перескочившее по ним темно-бурое существо мягкого, густого и немисливо породистого облика и таких великолепно-спокойных, царских и внимательного-гибких движений, то рот мне расперло комком взрывного лая. Будто там лопнуло что-то... Будто раскрылась дождавшаяся часа капканная пружина. Понимаю неуместность сравнения и использую только для того, чтобы показать разевающую силу этого лая. Его распирающую неизбежность. Дальше к хороовому лаю добавился еще один звук. Сначала мне показалось, что это придыхание Тагана, межлаевая одышка, или что у него в гортани застряла гнилая мягкая щепка, но потом оказалось, что, несмотря на низовое положение Тагана, звук идет сверху, будто у самой кедры засорилось смолистое горло. И когда я понял, что это ворчит соболь... я потерял голову. И если первый раз мне взорвало пасть пружинной от «нолевки», то тут была неистовая «тройка». Добавьте головку с круглыми светлыми ушами, пролившийся, наконец, режущий запах и это немислимое шевеление в тяжких и крупных пучках кедровой хвои. И протяжно-пружинный стон отрикошетившей пульки. И отстреленная веточка с тремя кистями хвои, к которой мы с Рыжиком кинулись, как дураки. И наше визгливо жалостное влаивание на перепрыгивания соболя, и Рыжик, кинувшийся лапами на ствол и откусивший кусок коры.

Там вверху нечто огромно-таинственное и неистовое царило, некое диковинное существо размером с кедром, шевелящее хвоей, придыханно ворчащее, замирающее, воющее пулькой, обманно роняющее ветви и настолько вездесущее, что вылетевшая из-под зубов Рыжика кора — тоже казалась частью его безумия. И оно ходило ходуном, и когда Старшой особенно неожиданно выстрелил — собралось и выдало нам вытяжку, кристалл, образец, смоляную капь, густок темной молнии, и Старшой кинулся, чтобы мы с Рыжиком не порвали ее пополам и не умерли от разряда. Потом долго и изумрудно умирали соболиные очи, светились диковинно на царском меху — сложнейше-коричневым с переходами, со сказочным переливом в палевость, с намеком на рыжину и затемнением по хребту. С головешечно-черными мохнатыми лапами и ярко оранжевым горлом, поразительно созвучным острому тревожащему запаху. Мы все прыгали, пытались ухватить добычу, и Старшой давал нам легонько пожамкать-лизнуть, крепко держа и оставляя меж сжатых кистей оконце соболиного тела — морды, уха. А мы потрясенные, прихватив и потрепав добычу, фыркали и вновь заливались восторженным лаем.

На другой день счастье подвалило уже именное! Я наткнулся на соболя накоротке, и он влез на высокую и тонкую листованку и сидел, изогнувшись и кругло сложившись. Его было отлично видно, на этот раз желто-рыжего, освещенного солнцем на фоне синего неба. Когда я все лизал и пытался судорожно прихватить добытого соболя, Старшой, сдерживая мой пыл, говорил особенно негромко и внимательно. В его «молодец-молодец» звучали настолько серьезные ноты, что снова забрезжили связи-жердины и снова замутило от ощущения прозрачной и ноющей ваги внутри меня...

Были еще соболя, скрывшиеся в корнях, которые мы разрывали черными от земли мордами, и зубы и розовые десны Рыжика в темных кусочках мусора, по-

мню вытоптаный дотла снег и длинные, уходящие вдаль шнуры корней, и как они вспарывали подстилку, когда Старшой их дергал. Была лежачая, дуплистая, покрытая мохом труба-кедрина, в которой затаился соболь. Таган стоял у выхода, взлаивая и крутя головой, и Старшой вырубал топором дырки, как в дудке, тыкал в них палкой, и мы видели в окнах диковинно-сказочный проползающий мех...

Однажды мы загнали соболя в огромную зеленоватую осину, гладкокожую, с буграми-наплывами вокруг сучков, уже сгнивших и глядящих дуплами. Осина была необыкновенно литая и гулко дуплистая... Старшой прорубил в комле дыру, открывшуюся кромешно и близко, и запалил бересту. Медленно и пахуче разгорелся огонь и повалил дым сначала из одного дупла, потом из другого и третьего. Соболь вылез и сначала пополз вниз головой, расластавшись полностью и цоколя коготками, спускался рывками-перебежками, и свисал хвост, загнувшись на спину. Старшой добыл соболя, и когда уходили, я жарким ртом куснул снега и оглянулся: гудела тяга в осине, густой белый дым валил из многочисленных дупел в разные стороны и под разными углами, и коренастое дерево напоминало какой-то старинный людской агрегат...

5. РЫЖИК

Когда узнаешь, что состоявшийся, знающий дело пес вдруг еще и стихи пишет, неловко становится как-то и неустойчиво. Есть образ, к которому ты приладил, с которым понятно и крепко... И вдруг вся собака... откатывается на слабую точку. Личность, привыкшая побеждать — вдруг сознательно становится беззащитной, уязвимой пред белым светом, ушлым на критику. Так и охота спросить — зачем?

Рыжик хоть и не был состоявшейся собакой, но в направлении двигался, и поэтому неловкость я испытал ужасную, узнав, что он еще и пописывает. Вирши совершенно не шли Рыжему и выражали не его суть, а одну, скажем так, идейную ипостась, причем настолько примитивно, что если бы их прочел некто, съевший собаку в поэзии и не знавший Рыжика, то был бы разочарован: образ лирической собаки не имел ничего общего с той собакой, каковой эта собака была в собачьей жизни.

Тем не менее, содержание этих... куплетов, а иначе их не назовешь, помогают понять, что роковой тот поступок, на который мой брат столь безрассудно решился, не имел никакой материальной, или, скажем так, желудочной, подоплеки. Надо полностью не понимать Рыжика, чтобы объяснять случившееся продуктовыми причинами, и я абсолютно уверен, что сама по себе привада, как продовольствие, не интересовала Рыжика вовсе, а руководила им лишь идея бунта против существующей картины взаимоотношений гражданина и власти, и его собственного в ней положения. Поэтому трактовать поступок Рыжика с продовольственных позиций, как это делал Таган, совершенно ошибочно и, я бы сказал, недальновидно.

Чтобы доказать сугубо идейную подоплеку этого бунта, я предлагаю обратиться к поэтическим изысканиям Рыжика, которые, не имея отношения к литературе, нужны лишь в доказательство моей версии произошедшего. И прошу не воспринимать мое критическое отношение к творчеству брата как повод выставиться более сноровистым в словесном творчестве: я начисто лишен подобных притязаний и выступаю как летописец.

В таежной жизни бывает, кто-то напоеет, просыпаясь, какую-нибудь глупость, и все повторяют ее до самого заката. Поэтому так важно, чтобы день, осень, жизнь начинались с правильной строчки. Так вот Рыжик частенько бубнил с утра глу-

пейшее словочетание: «Этот Рыжик в общем-то рыжовый»... А я целый день его повторял и чем сильнее ощущал его глупость, тем послушней долдонил.

Что он имел в виду? Какую такую «рыжовость»? А может, не рыжовость, а ржавость? Повторю, Рыжик был, что называется, с идейками и с критической жилкой. Грамотный, по-своему даже начитанный, он имел самостоятельное суждение почти по каждому случаю, да еще и с пофыркиванием на общепринятое. Имею в виду пофыркивание в общечеловеческом смысле, а не в сугубо собачьем.

По моим наблюдениям, чем грамотней творческая собака рассуждает об искусстве и чем сильнее наращивает читательские ожидания, тем слабее ее произведения. Если уподобить душу художника котлу, в котором готовится духовная пища, то без конца снимая крышку, ты лишь стравливаешь пар и роняешь давление... Это же относится и к строгости подачи — канон на то и канон, чтоб не отвлекаться на форму посуды и собраться на взваре.

И либо Рыжик слишком много рассуждал о законах творчества, либо ошибся с каноном, но все его стихотворчество свелось к какой-то бесконечной поэме в духе тюремного фольклора с вечным плохим прокурором и несчастным арестантом. В качестве прокурора и мучителя выступал Старшой, купающийся в комфорте, у которого в избушках чуть не полированные стены и прочие излишества, и, конечно же, «кулинарное питање и от печки ровное тепло». Причем эти «полированные стены» будто свидетельствуют о некоем буржуазном вкусе, точнее, как раз об отсутствии вкуса и тяге к внешнему лоску:

У него в избушках много лака,
Там он развалился и храпит.
А за дверью бедная собака
В кутухе простуженно сопит.

У нее дырявая избенка.
Колко смотрят звезды из щелей,
Вместо двери тонкая картонка
И лицо в укусах соболей.

Летом были с девушкой в походе,
Гнус в пути довольно сильно грыз,
Кто-то, вечно правый, встретил нас расправой,
И хотелось спрятаться за мыс.

Там, где снег в сидячую собаку,
Мы идем-то в общем-то пешком,
Ну а кто-то прет на снегоходе
Да и в общем смотрит бирюком.

Мы ползем за ним в снегу по брюхо,
Едкий выхлоп лезет нам в носы.
Это нам грозит потерей нюха
И вот-вот отвалятся усы.

(Вариант:

К позвонкам давно прилипло брюхо,
Лезет выхлоп в ухо, горло, нос.
Это нам грозит потерей слуха
И на зренья скажется всерьез.)

С последними куплетами он меня всерьез мучил, требуя выбрать лучший. К его поэме подошла бы заключительная строфа:

На восходе рыжем и суровом
Из трубы железной вился дым.
Этот Рыжик был с утра рыжовым,
А к закату сделался седым.

Строчка про звезды, «колоко» глядящие из щелей, мне нравилась, так же как и аллитерация «тонкая картонка», хотя и то, и другое — красное словцо: никакой картонки не существовало — дверь в кутух была завешена плотной мешковиной. Да и звезды из щелей не смотрели — бревешки были отлично подогнаны и проложены мохом. Но строки казались самыми удачными. Так что есть правда?!

Остальное не годилось никуда, особенно гнус, который нас настолько «сильно грыз», что ниоткуда появлялся целый персонаж, некий таинственный и странный «сильногрыз». А меткое выражение «снег в сидячую собаку» Рыжик подслушал у Старшого.

Не смешно, а нелепо и горько все это, учитывая развязку. И повторяю, куплеты эти не имеют ничего общего с личностью их автора, который, имея прекрасный слух к чужим успехам и неудачам, обладал полной слепотой по отношению к себе. Впрочем, в этом мы все успеваем.

Видимо, не успев в стихах, он перешел, так сказать, на прозу, точнее, на публицистику, начав со всем максимализмом разрабатывать теорию Собачьего, которая имела массу позитивного, но искривилась и свелась к окрестностям вопроса. Рыжик разрабатывал не содержание Собачьего, а «держал границы», например, занимался составлением словариков «выражений, оскорбляющих собачье достоинство». (Собачий холод, собачья жизнь, насобачился, плавать по-собачьи).

Услышав разговор охотников про собачки от стартера, полез в справочники, а потом изывался:

— Слыхал, новости? «Собачка — деталь храпового механизма». Это, наверно, когда Старшой храпака дерет в избушке, а мы на улице зубами стучим!

Придумал словечко «собы», казавшееся ему особо удачным, и оно, дурацкое, вошло и в мой обиход. Удивительно как бывает. Один придумает что-то в пылу самопоиска, да тут же отгорит и десять раз предаст, а другой все примет и потихоньку-полегоньку понесет сквозь всю жизнь, наполняясь по сердцу и дивясь как дару. Так и у меня вышло, когда я, глядя на окружающих и расспрашивая о прошлом, осознал нашу собачью особость, те главные качества, на которых веками зиждилась негордая наша порода. Они просты, как все истинное. Это три камня: верность, способность к бескорыстному служению и непамятозлобие.

В Рыжиковых же «собах» ничего, кроме того, что мы особенные, не было и дальше деклараций и щенячьей игры в слова не пошло: Рыжик впал в свою даже ересь. Слово «особенность» у него означало количество собак у охотника. «Индекс особенности промысловиков Балахчанского района к концу 19 века колебался в пределах двух-трех особей на русского охотника и пяти-шести на енисейского ясачного остяка и тунгуса...» *Особь, пособие, соблазн, собутыльник* — все Рыжик трактовал и переизобретал. *Подсобка* — небольшая молодая собака. *Соблюдение* — облудение собак, то есть приобретение ими человеческих качеств. *Подсобник* — коврик. Вершиной были перлы, вроде *междусобицы*, означавшей пространство меж собачьих усов.

— А как же соболь? — спросил я.

— Ххе, — сказал Рыжик и стал тянуть время. — Ну, как же, как же... э-э-э... пр-с-сь, — вдруг догадался брат и продолжил очень солидно: — Ну, как же? Со. Боль. Собачья боль. Ну... вечная обида на несправедливость... Вроде как ты нашел, догнал, облаял, а приперся Старшой, добыл-подобрал, пинкаря наподдал и в свою котомку бросил. Это как в кино оператор: отснял — и до связи. А все хряпки режиссеру. От так от! Да...

И вдруг открыл:

— Ты понимаешь, мы операторы! Операторы скаковой... меховой... Не! Во — нюховой погони. Операторы нюховой погони! Х-хе! Звучит? Хватит нам дедовским

строем жить! Надо в лапу с эпохой! Собь наша держится за любовь к миру и любовь к самому себе! Даль — ни больше, ни меньше!

— Какая даль?

— Владимир Даль, тундрятина!

Уже стояла середина ноября, все глубел снег, и мы уже не могли догнать соболя. Снег этот треножил и изводил, наводя на мысль, что самое интересное позади. Это не означало, что надо обязательно плестись за Старшим: по старой лыжне еще можно было убежать вперед, но шаг в сторону — и уже прыжки, и язык на плече. День сжался, ночи подступали все морознее, и мы лежали в кутухах, укрыв хвостами носы, так что на бровях к утру козырьком серебрел куржак, создавая росомаший вид. Выбегая из кутуха, Рыжик то и дело поджимал ногу и заскуливал. Приходили поздно, не в силах догнать соболя, за которым брели, пока хватало сил. Таган такой ерундой не занимался, четко знал и снег, и силы и гонял только парные (свежие) следы на самом коротке и шагом. Мы же убегали и приходили в темноте, чаще так и не догнав соболя, а если догоняли, то лаяли часов до трех-четырех ночи, сокрушаясь, почему не скрипит на лыжах Старшой. Нам в голову не приходило, что он не в состоянии столько отмахать по тайге. Вскоре снег и вообще оглубел. Самое обидное, что соболю это понимал, наглед и, бывало, прыгал с кедры и убегал по снегу, зная, что его не догнать. Работа все больше сводилась к тупому бредению за Старшим и попыткам нескольких натужных прыжков в сторону и обратно.

Был еще урок, который добавил раздражения Рыжему. Учил он знанию одного из важных законов собачьей жизни. Я бы его назвал «законом притяжения избушек». Как-то раз мы уходили в хребтовую избушку на малый круг. Уход с зимовья — целое дело. Старшой кучу всего убирал, проверял, выливал воду из ведер, убирал лестницу от большого лабаза. На полдороги к Хаканачам Рыжик погнал след соболя, который вывел его в обратную сторону. След был старый, Рыжик бродил-бродил, потом выбежал на нашу дорогу и вместо того, чтобы догонять, вернулся на базу и сидел там три дня, пока мы не пришли. Притяжение избушки вернуло его с полпути и не пускало на наши розыски. Таган сказал, что его «столь раз ловило» и что меня «ишо не раз поймат».

Рыжик особенно переживал и страшно обиделся, что его «забыли». Снег подваливал. Брату все сильнее хотелось действия, чего-то острого, интересного, и как натура нетерпеливая и впечатлительная, он маялся, и все чаще проявлялась эта нервная скулинка в зевке. Раздражало все: «Он перестанет валить-то (про снег)? Честно говоря, остопузбло. Таган еще этот. Бе-бе-бе... Задутый в хлам. Сам от себя тащится».

Но больше всего доставалось Старшому:

— Меня, например, возмущают некоторые вещи. Как он все время повторяет одни и те же шуточки. «Избушку срубишь». Или: «Наши все дома». Я Тагана специально спрашивал — он говорит, что тот уже много лет это прогоняет. Меня, например, просто раздражает, как он снегоход заведет и стои-ит, стои-ит рядом... Особенно в мороз он эту тягучку тянет, дымина, давно ехать, а он все стоит. Себя и нас травит. Или как торчит над душой, когда мы едим: «Ешь, ешь, крупу подбирай, одну рыбу и я могу».

Я пожимал плечами. Мне не приходило в голову раздражаться. Как есть, так и есть. Не то что я такой послушный, покорный. Нет. Просто так устроен. Себя хватает. Да и спокойней.

— Да ты какой-то равнодушный... — с горечью говорил Рыжик и пытался развеселиться зубоскальством. Читающий все, начиная от рваных упаковок и инструкций до философских трудов, придумал свой способ подшучивать над Старшим. Поскольку наша жизнь очень сильно завязана на Старшого, то привычен вопрос:

«Где Старшой?» И допустим, Старшой ладит переправу. «Где Старшой?» — «Диодный мост через ручей намораживает». Или: «Где Старшой?» — «На лабаз иерархическую лестницу ремонтирует». Или: «Генератор идей дергает». — «Ха-ха-ха...» При всей глупости выражения привились, и лестницу мы так и звали «ерархической», а мост «диодным». «Хе-хе, диодный промыло!» Шуточки не спасали, и раздражение, в конце концов, привело к тому, что Рыжик предложил мне совершить поступок, который... В общем, все по порядку.

— Я не знаю, чо ты страдаешь, — сказал как-то ночью в кутухе Рыжик. Сказал негромко и подавая, что я, а не он извелся. — Я все продумал. Токо иди на тупик надо, где меньше попадает, где вообще может зря провисеть. Он нам еще спасибо скажет: «Все равно кукши с кукарами⁵ склюют. А тут хоть вас накормил. Седни поздно пришли, сварить не успел. Устрапался с этим снегом. Валит и валит. — говорил Рыжик со старшовскими интонациями. — Молодцы, чо скажешь. Сами о себе позаботились, не все батьке за вами сопли вытирать, хе-хе...»

Я даже рассмеялся, а удовлетворенный эффектом Рыжик сменил тон на серьезно-штабной:

— Смотри. У него на тупике шестьдесят ловушек. Допустим, полста капканов и десять кулемок. Кулемки, лешак с ним — не берем, там привада высоко, не дотянемся. Только время потеряем. Тем более полста капканов — это во. — Он провёл лапой по горлу. — По двадцать пять кусочков на рыло. Куда с добром? Ну чо? — подвел он торжествующе-гордо. — Делаем?

— Рыжак, ты чо сдурел? Ты чо, не понял ничего? Это труба. Нельзя. Он тебя всяко разво вычислит.

— В смысле, «меня?» А ты чо, типа сам по себе? Ты такой честный? А я значит плохой.

— Да нельзя этого делать!

— Да тебе кто сказал-то такое? Чо за туземные правила. Еще про обязанности скажи! Я, например, себя совершенно не чувствую... обязанным ему... Во-первых, он, смотри, в тепле, а мы в будках. Во-вторых, как он питается и как мы? Ты думаешь, нормально: до ночи не жрамши бегать, а потом брюхо набивать так, что пошевелиться не можешь? Бочка и бочка. Смотреть дико... И все одно и то же: каша и рыба, каша и рыба... — говорил он с напором. — Ты вообще в курсе, какой рацион должен у собак быть? Ну, вот то-то! А он-то о себе на забыва-а-ает! — проицательно протянул Рыжик. — То рожки, то макарешки! Все эти соуса, кетчупа! Гречка, сечка, рис, пшенка, манка, овсянка! Да! Эта еще... как ее? Ну как? — раздраженно забил хвостом.

— Полтавка?

— Да нет! Перловка! Перловка. Ну...

— Горох еще.

— Ну, горох. Фасоль еще. А картошечка! С салцем! Тьфу! Лук только зря он везде пихает. — Рыжик совсем раздражился. — А тут таз этот грызешь-выгрызаешь...

Бывало, остатки каши замерзали в тазу, и мы их грызли, пытаясь добраться до трудно кусаемой области, где соединяется донце с бортиком. И так и глядела оттуда мерзлая каша со следами зубов...

— А соболей этих как он нас жрать приучал! — не унимался Рыжик. — Меня первый раз чуть не вывернуло. Такой духан у них... Бээээ... А еще по рации... — Рыжик заговорил с грубой манерностью растягивая слова. — Еще с таким довольством рассказывал: «Нее...» — Он снова стал очень похоже изображать Старшого: «Я своих приучэ-эю... Сначала морду воротят. А морозцы придэ-эвят, как маленькие хряпать будут... хе-хе... Ни хрена... Голод не тетка...»

⁵ Кукары — так называют кедровок.

И он еще добрал раздражения:

— А теперь прикниж, сколь он километров за день проходит, а сколь мы? Я в книге читал: «Промысловая собака пробегает в день расстояние, в 10 раз превышающее дневной переход охотника!» О как — в десять раз! Это не хрен собачий!

— За базаром следи!

— Да чо ты мне тут! Надоело все! Ложь эта бесконечная... Собачье — не собачье... А главное: ему навалить на наши заботы! И ты хорош: «Наше, Собачье!» А сам за что стоишь? Помнишь, как мы клялись-стояли над скалами! Ты говорил — верность! Пусть они, как хотят там! Чо хотят! А мы как пятьсот лет в той же шкуре бегали, так и бегаем! — Рыжик сменил тон на предупредительный — А снег оглублет — мы вообще поплывем! Только уши одни останутся. А он на снегоход — и алга! А от него вонища, сам знаешь какая? Погоде-е-е, — завел он умудренно. — Я на тебя посмотрю, когда настоящие морозы придавят?! Кто нам тогда за вредность доплатит? Так что нечего тут в благородство играть... Доигрались, что нас скоро на хасок поменяют. Видал, вон Коршунята чо творят!

— Ну, — согласился я, — последнее время он наше Собачье ни в грош не ставит. — С Коршунятами тут миндальничал.

Коршунятами звали наших соседей по участку, из тех, про которых говорят «палец в рот не клади». Они пытались заработать на всем и строили планы закупки иностранных собак для катания богатых туристов. Кличка Коршунята — производное от фамилии Коршуновы. Не люблю говорящих фамилий, но тут бесслен. Так что, извиняйте.

— Дак про то и толк! — с жаром подхватил Рыжик. — И не то что не ставит — а просто попирает. Просто по-пи-ра-ет, — сказал он совсем по-тагански. — И кстати, вот Николь, она молодец... Она говорит...Ну чо ты морщишься? — фыркнул на меня Рыжик и почесался, застучав по будке.

— Наши все дома! — сказал я, и мы захохотали.

— Хорош ржать, жеребятня! — рыкнул Таган.

— Да все. Все, дя, — сказал Рыжик и тихо добавил, покачав головой: — Еще один. Задрали... — и продолжил обычным голосом: — Дак вот Николь... Да ты чо опять?

— Да имя чо пошлошное... — сказала я, щадя Рыжика и переводя неприязнь к манерной сучке на ее имя.

— Нормальное имя. А чо? Лучше, как у вас: Соболь и Пулька?! Припупеть, как оригинально! Дак она грит — вот в городе, да? Там территория с фигову душу, у нас участок в десять раз больше. У них там ни леса не растет, ни мяса не водится, ни рыбы, ничего, а живут распрекрасно! А тут вечная попа в мыле, и каша мерзлая раз в сутки.

Рыжик вдруг заговорил с примирительно-справедливой интонацией:

— Причем я не предлагаю брать пугик, где попадает. Берем самый пустой. Где соболь раз в пять лет забредет, да и то сдуру. Заморыш самый. Все равно пропадет привада. А это его труд, между прочим. И наш. Ты поди этого глухаря найди, облай, потом добудь, обработай. На кусочки поруби. Проволочки к ним привяжи. Ни хрена себе! И все этим тварюгам. Кедровкам этим, кушкам... Не выношу, как они орут. Дятлы эти... Долбят сидят! По башке себе долби. Ду-пло-гнезд-ник... — презрительно обратился Рыжик к воображаемому дятлу. Он все больше набирался мощной тагановской интонации. — Ага. А привада через месяц выбывает⁶ — и с нее толку ноль. Все равно ее обновлять наа. Он нам еще спасибо скажет. Мы так сказать... обеспечим своевременное обновление приманки, что положительно ска-

⁶ В ы б ы г а е т — от слова бывать. Выветриваться, обезвоживаться, обветриваться, вымораживаться.

жесты на результатах промысла. Не-е... — И он оглянулся, будто обращался уже не ко мне, а к какой-то пространной и заинтересованной аудитории: — Я считаю, тут надо четко. Или — или. Так что думай. А то вечно будешь... х-хе... на подлайке... По попе лопаткой получать. А он твоих соболей будет на аукцион толкать... А ты мерзлую сечку грызть... Или... полтавку... И зубьями клацать... — И добавил с грозным холодком: — Так чо? Со мной или как?

— Не, Рыж. Я не то что «или как». Я против. И тебе скажу: — Не ходи никуда. Беда будет.

— О-о-о, понятно. — потянул он презрительно. — Я думал, ты правда брат. А ты так... Временный спарщик. Я думал, вместе — значит вместе. На кой ты тогда все эти соборы разводил над скалами? — И вдруг сказал резко и собранно: — Ладно. Разберусь, — и добавил, вставая, — кашку жуйте. Счастливо оставаться... Да, надеюсь, ты Тагану не станешь передавать наш разговор.

— Чо сдурел? Да. Ты в курсе, что там есть капканы с очепами — вздернет так, что лапу вывернет из сустава. И в мороз нельзя. Влетишь — и хана лапе.

— Да ба-рость ты, — развязно парировал Рыжик, демонстративно отдаляясь от меня. — Такие дела красе-ево надо делать. При звездах. На бодряке. Я вообще шлячу не люблю. Когда сырость, снежина этот. Не мое. У меня в снег вялость. Неохота ниччо. А когда вызвездит с ночи, это да! Мне Таган рассказывал, есть какой-то Ткач у них, дак тот только ночью работает, с фонарем. Грит, расстояния короче. Вообще мужик! У него литовка в каждой избушке, и он, представь, с осени собакам сено косит на подстилку. Они у него в отличных условиях, ну и отдача, сам понимаешь! А наш чо? Только орет и шестом лупит. А раньше, Таган говорит, — исторически завел Рыжик, — у бати его, Дя Вовы, кутухи были в угол рубленные... И кастрюли с полбочки. Понял? И одной рыбой кормил. По пять центнеров одного токо налима заготавливал! Дак у него и собаки как глобусы были... Этот пришел: всю... инфраструктуру свернул на хрен!

— Как глобусы! Такие же синие, что ль? Ой, не могу! Надо было тебя Глобусом назвать! А не Рыжиком! Глобус, ко мне! Опежь, падла, отъелся!

Он было улыбнулся, но тут же улыбку свернул и продолжил:

— Да-а-а, не ожидал я от тебя, Серый... такого поворота... Не о-жи-дал... Ты меня знаешь. Мне-то в гордык с тобой работать... А ты вон как. Ну, ладно. Только потом не надо... примазываться... к чужим достижениям.

Рыжик вылез, побегал и, хватанув снегу, вернулся в кутух:

— Удивляюсь на тебя. Не хочешь по капканам, а сам в капкане. Сидишь и боишься вырваться. Ты разуй мозги-то. Я щас тебе открытие сделаю. Хочешь? Ну, слушай. С капканами. Можно. Спокойно работать! Я, например, сразу понял. Просто не надо на них нас-ту-пать. Все. Не наступай на железо. Спокойно, главное. Подошел. Нюхал-осмотрел. И ставишь лапу. Там места валом. Это соболь дурак, ему по фиг. Не понимает железа. А мы-то собаки! Запомни: от железа фон холода идет! Все. — Рыжик задумался, помолчал и продолжил философски: — Не знаю... Какая-то в вас несвобода, что ли... Таган, помнишь, рассказывал, что здесь раньше капканы на земле ставили. И мыши жрала пушнину не-щад-но. Потом с Саян, с Каратуза приехал какой-то Крюков ли, Хрюков, хе-хе... и стал на жердущки ставить — и все. И все начали жердущки лепить. А чо раньше-то? Где мозги были? Сидели, соболей штопали, глаза ломали при лампах. Керосиновых. Я вообще в шоке.

— Да чо ты мне тут про Каратуз? Я те про то, что приваду трогать нельзя! Ты чо такой!

— Да кто сказал-то, что нельзя? Старшой, что ли, этот преподобный? Он — кто такой-то?

— Он Старшой.

— Да ладно тебе, — презрительно-успокоенно сказал Рыжик и, протяжно зевнув со скулиной, закурглул разговор, — отбива-а-аться надо.

Хотя с Рыжим я говорил решительно, внутри все рвалось. Я то собирался идти с ним на преступление, обосновывая тем, что при мне он не влетит. То почти соглашался с его правдой, а то не соглашался, но выбирал братскую дружбу без всякой правды и обоснований. За ночь рыжикова правда вытекала из меня, и я переживал, что почти предал Старшого с Таганом. И гадал, как и дружбу не обидеть, и не участвовать. Даже подумал пообещать, а потом сказать, что лапа заболела. И хотел, чтоб все как-нибудь сделалось: чтоб Старшой решил заменить накроху, велел нам старую съест, и мы бы пошли. Гаже не было состояния: я брата любил.

Однажды мы с Рыжим притащились особенно поздно — Старшой с Таганом давно вернулись в избушку. Мы, бредя сзади, наткнулись на след, поковыляли по нему и, найдя соболя в корнях, много часов пролаяли. Днем было тепло, а к ночи стало на глазах подмораживать. Рваные тучи понеслись с северо-запада, открыли закатное небо, и гнутые ветви кедров на его фоне казались особенно черными и пучкастыми, а прозрачно-огненные просветы — пятнистыми от кедровых кистей.

Мокрая шерсть мгновенно бралась панцирем. Пришли во льду, с ледышками меж подушек. У меня кровил, болтался коготь — я его отодрал, когда рыл соболя в корнях и камнях и не заметил в азарте, в трудовом упоении... В ощущении своих окрепших лап, наросшей на подушках кожи, толстой и тугой... В восторге от сочетания несовместимого — снега и углстых камней, горной грозной породы, обрывков мха и богатейшего терпкого запаха: земли, корней и плесени... И все кружилась, поглощала мысль: жизнь сырьем берем! И стояли перед глазами: освещенная закатом сопка с сахарно-розовым от кухни лесом и белая бугристая плешина на склоне — каменные россыпи в чехле снега, и ворчание соболя... И как выкатились на затвердевшую лыжню и бежали, толкаясь и кусаясь.

Старшой обрадованно выскочил: на ворчанье ли Тагана, которого запустил в избушку, или на грохот пустого таганьего таза, из которого Рыжик бросился выгрызть остатки каши. Старшой громко и радостно выговаривал: «Где шарились, а? Ах вы, собаки! Ах, вы морды!» и вынес таз с кормом, который давно остыл и ждал в избушке. Накормив, Старшой в виде праздника запустил нас в избушку. Мы мгновенно забрались под нары, где Рыжик начал сопеть, чихать и чесаться, колотить лапой, и Старшой сказал:

— Кто там? Наши все дома!

Никогда не забуду. Тихий бледный свет ночника. На коврик в ногах Старшого Таган. Старшой с ним разговаривает и почти советуется, а тот лишь едва прижимает уши и хвостом даже не шевелит, а обозначает готовность.

Таган лежал на полу, но его подстилка, старый детский матрасик, казался каким-то тронem. Тихо подпевала печка-экономка, верещала убавленная радиостанция, которую Старшой слушал в пол-уха, и такой покой стоял в полуосвещенной избушке, что на всю жизнь заморозил образом счастья.

Старшой глянул на будильник и добавил громкости ради. Там что-то нудно пикало да далеким фоном шли сразу несколько разговоров.

— Хорогочи! Хорогочи Скальному! — вдруг неожиданно близко заговорил голос, искаженный до режущего-комариного. Старшой pokrutil тембр, и из писклявого обратился в неузнаваемо загустевший, вязнущий и одновременно гудящий, будто Скальный говорил в дупло, а потом вернул к средне-естественному.

— На связи, Скальный! Там Курумкан не вылезил?

— Да нет пока...

— Ясно.

Старшому самому так нравилась тишина и редкое наше единение, что говорить особо не хотелось, но он поддержал разговор:

— Ну что? Как делишки? Пробегаешь соболек?

— Да пробегаешь-то пробегаешь, а кобель меня новый замучил, — Скальному было охота, чтоб расспросили, и не торопился все выкладывать.

— Чо такое?

— Да чо-чо? Соболей мерзлых в капкане портить повадился! Задолбался.

— Отметель, как следует, этим соболем по сусалу.

— Да метелил. Первый раз такой соболь еще попался, котяра, третий цвет, здоровый. Так отходил! Потом этого соболя полночи штопал, глаза сломал. На следующий день еще пять штук... Подбежит, пожаткает, и, главное, удирает тут же! Как понимает.

— Да все они понимают! — с возмущением сказал Старшой. — А рабочий хоть кобель?

— Ну как? Молодой... Шибких достижений нет... В пяту⁷ тут погнал.

— Нда... Как бы убирать не пришлось. Это бесполезно. Только нервы мотать будет...

— Но. Я и сам думаю. Жалко, конечно... Но с такой охотой — не знаю...

Тут вмешался совсем близкий голос:

— Хорогочи! Хорогочи Курумкану, прие-ем!

— Отвечаю, Курумкан! Обожди, Скальный... На связи! На связи, Курумкан, как понимаешь меня?

— Да нормально. Нормально идешь. Ты это... Чо, когда подъедешь?

— Подъеду-подъеду, только послезавтра. Как понял меня?

— Понял, понял, Хорогочи!

— Добро. Мне с работой две избушки пройти надо. Продержишься?

— Ну, понял, понял. Продержусь. Куда деваться! Я думал, завтра. Ладно. У тебя это... лебедка есть? Да. И пила?

— Есть, есть, Курумкан! Веревки есть. Сколь там километров до места?

— Восемь! Восемь примерно!

— Понял, восемь!

— Там, я боюсь, шуги бы не натолкало, сверху открыто все. Там горы. Она шиверой сплошной течет! — сказал он про реку.

— Ладно, ладно. Не кипишись. Вытащим.

— Хорошо, еще рация здесь старая. А батарею! Батарею вез сюда! Тоже там. Не знаю, будет работать — нет. Она, правда, в мешке. Закрытое все. Может, не промокла. Ладно, давай — питание садится. До связи!

— До встречи уже!

— Давай аккуратно там! Я, короче, рацию не выключаю, пусть на прием пашет. Вы меня не орите.

— Ты это, Курумкан! — вмешался Скальный. — Ты выше дыры возьми доски на ребро поставь и наморозь там, ведром прямо лей, лей... Проколет — потом черта вытащите!

— Да ково доски! — вмешался мужик с позывным Сто второй. — Ты чо не понял, Скальный? Он же пилу тоже утопил. Ты это... Курумкан! Ты сходи туда завтра и просто жердей, просто жердей накидай, — кричал Сто-Второй. — На подвид опалубки, и намораживай! Все равно тебе делать не хрен, пока Вовка едет, хехе. Хорогочи, а руль-то хоть торчит?

— Да какой руль? Полностью ушел. Там метра два. Еще с нартой.

— Да... А мы прошлой весной «армейца» утопили в пропарине. На гусей ездили... В навигатор забили место. Все. Нашли. Зацепили, а Енисей возьми и пойди! Так и волокли, пока не остановился... Метров сто, наверное. Как раз на яме. Еще самоллов чей-то подцепили.

⁷ В п я т у — значит, в сторону, противоположную той, куда убежал зверь.

— На яме, говорись? — откуда-то издали заскрипел мужик с позывным Горелый. — А слышь, туда, пока тащили, стерлядок случаем не набилось под капот?

Таган только хрюкнул и покачал головой.

— Ладно, мужики, до связи. Ехать завтра. — Старшой решительно выключил радиостанцию. — Щас пойдете собирать... Да, Тагаш?

И еще сосредоточенно полежал, а потом подкинул в печку и, сказать «выгнал» — не поворачивается язык, попросил нас из избушки. Рыжик не хотел вылезать из-под нар. Я до сих пор не понимаю, было ли это простое нежелание идти на холод или он по правде что-то предчувствовал.

Обычно мы хорошо слышали с улицы, как Старшой растопляет печку: стаскивает дверцу-крышку, пихает поленя, ударяя в гулкое нутро печки, и даже запах поджигаемой бересты доносился до наших носов. Потом открывалась дверь, и раздавался веселый окрик: «Мужики, как ночевали?»

Ночью настолько крепко и алмазно звездануло, что я зарылся в сено и свернулся в такой тугой калач, укрыв нос хвостом, что проспал и звук печи, и запах бересты, а проснулся от окрика: «Где Рыжак?»

Утро было седым и морозным. Напротив избушки середка реки не стояла и там трепетно-живо текла ребристая черно-синяя струя. Пар белым пластом висел до поворота. Скалы, кубически расчерченные трещинами, были как-то особенно пятнисто и грозно покрыты инеем. А голые лиственницы стояли меловыми, и их выгнутые ветви казались толстыми от куржака. Я высочил на берег. Таган сидел на льду и замерше смотрел вдаль. Рыжика не было.

На лице Старшого стоял сумрак жесточайшей досады. Он долго орал Рыжика со всех возможных точек, несколько раз стрельнул из карабина. Вздурораженный и вдохновленный предстоящей встречей с Курумканом, своей спасательной ролью, Старшой был настолько возмущен поступком Рыжика, что слова «просто гад», «вредитель» и «паразит» были уменьшительно-ласкательные обращения.

Потом он сказал: «Да и лешак с тобой» и «Пошел ты», не буду, мол, даже прислушиваться и оглядываться, но прислушивался и оглядывался весь будущий день. Старшой завел снегоход, и пока тот грелся, плотно укрытый брезентом, крепко увязал нарту, и мы, наэлектризованные предстоящей дорогой, заметались, в какую сторону бежать, потому что база стояла в целом пауке направлений. Старшой съехал на берег и помчался краем, льдом, косо повисшем на берегу, когда вода упала. Он неся в плотном бело-голубом облаке, и мы заходились за ним в неистовом скаке, а потом по извилистой, пропиленной по густой тайге дороге поднялись на гору. Там Старшой остановился у длинной кулемки и долго слушал, сняв шапку и вытянув напряженно шею. Слушал пристально, скусывая сосульки с усов, и капли снежной пыли таяли на красном лице.

И потом, останавливаясь у капканов, так же чутко прислушивался. Но не доносилось ни далекого лая, ни скулежа «подождите, бегу!» Только, остывая, щелкало что-то в снегоходе, да шипела, капая на раскаленное железо, влага талого снега... И так разлетно несло просторное крэкание кедровки, что, казалось, сидела она где-то далеко-далеко, хотя была совсем рядом. На острой, укутанной в кухту елке, шарик с клювом — поражающе маленький по сравнению с эховым обобщающе-таежным криком...

Были старые следы, соболь не спешил бегать по морозу и, видно, лежал. Попала пара штук. В обед приехали в избушку, подростую метровым снегом на крыше. Будто довозведенная, она выглядела монументально. Старшой затопил печку, попил чаю и пошел по береговой дороге. Возвращаясь, он надеялся, что Рыжик встретит у избушки. Рыжика не было. Сторона, с которой мы пришли, наша дорога, выглядела особенно мертвой, молчащей.

На следующий день к обеду мы добрались до Верхней и оттуда двинулись в сто-

рону Курумкана. Ближе к его зимовью навалились будоражащие запахи, с отрывки особенно диковинно чужие: собак, дыма, корма, всего того, что так остро и едко говорит о жилье.

Собаки Курумкана были привязаны. Курумкан выскочил в клетчатой рубаше — распаренный, лохмато-бородатый. Из двери прозрачно и клубисто валил плавленный воздух. Старшой стоял грозно-заснеженный, белобородый и нещадно воняющий выхлопом. Нас тут же привязали, чтоб не задирались. У Курумкана была жемчужная со светлыми глазами сучка и лохматый кобель — серый с рыхлой черной остью.

С вечера Старшой с Курумканом напилили досок, утром поехали к снегоходу. Своих собак Курумкан не взял.

Застывшая ломанина треугольников на месте, где ушел снегоход, была в бархатном куржаке. Доски твердо бумкнулись на лед, скользя и разъезжаясь. Курумкан попробовал топорикам, как нарост лед, и отскочившая от удара ледышка поехала по льду, и я не удержался и бросился догонять. Старшой пилил лед, и из реза бурлила вода с пузырями, зелено заливая заиндевелый лед со следами аварии. Хорошо, что снегоход уходил постепенно, и Курумкан успел выбраться.

Мне, если честно, не очень интересна вся эта возня с железками, которые Старшой с товарищами без конца топят, достают и снова топят, все эти таскания то лодки снегоходом, то снегохода в лодке и чувствование ими себя необыкновенно при деле, а тебя нахлебником. У Курумкана, например, непроходимые пороги, целое ущелье километров десять. До порогов осенью доехал и уперся. Но не на того напали: за порогами он сделал вторую лодку-деревяшку и там на ней бороздит. Заезжает весной по насту с племяншом на двух снегоходах, один оставляет в гараже, а на другом они выезжают. Какая-то вечная волк-коза-капуста.

В общем, выпилили майну. Старшой срубил березовый дрын с крепким сучком и, пока отесывал, умудрялся рассуждать, как он любит березу, хотя все ее «держат не за таежную» и признают кедру и листвяк. Топорик стеклянно отскакивал от мерзлого дерева, но Старшой терпеливо обрубал сучочки, которые не особо и мешали. Он, громко дыша, говорил, как любит «эх, свалить березку и переколоть по морозцу» и что обязательно по приезду так и сделает. Сучок на толстом конце он оставил — это был крючок.

Если приблизиться к воде вплотную, белый снегоход прекрасно проглядывался в струистой толще.

— Да где ты есть-то?! — шарил Старшой в майне, подергивая дрын. Березина, только еще скользкая как кость, в воде стала мокрая, теплая и будто мягкая. Наконец, нащупали бампер и приподняли снегоход — в прозрачной голубовато-зеленой воде он ярко, в бирюзу, светился белым капотом и был будто увеличенным. Вода неслась стремительно и неровно, и белый капот дробился, дрожал... Приподняли и зацепили кошкой (до чего меня смешит это название, совершенно глупое — кошка никогда не полезет на веревке под воду!).

Врубили в лед крепкую вагу, к ней подцепили лебедку и подвели доски под снегоход. Их давило течением, и одному надо было держать. Взял снегоход крючком за бампер и потащили. Несмотря на мою нелюбовь к таким упражнениям — удивительно ладно у них получалось и красиво. Вытащили и снегоход, и сани с грузом, обильно отекающим и тут же берущимся корочкой... В багажнике снегохода оказалась фляжка и мужиков это страшно насмешило. Открыли капот, что-то выкручивали, потом перевернули снегоход вверх ногами, и лилась вода. Развязали груз, поставили снегоход в сани. Поехали. У избушки под навесом сняли мотор и еще какую-то коробку. К обеду следующего дня утопший снегоход уже работал, сияя фарой и увешивая сенки синими нитями.

Вечером Старшой с Курумканом гуляли. То сидели в избушке, громко базла-

на, то вываливались во двор, продолжая разговор, моментально менявший направление, как только перед их глазами оказывался снегоход, собака, лыжи или чье-то ружье. Один моментально спрашивал: «Ну как тебе твой снегоход (собака, лыжи, ружье)?» и начинал рассказывать, какой отличный снегоход (собака, лыжи, ружье) у него самого, причем с полным осмотром, показом и приглашением испытать. До испытания *нас*, конечно, не доходило, но в один из выходов *нас* зачем-то отпустили. Хотя до этого категорически посадили на привязки, на что были потрачены уйма времени и слов, куда кого сажать. Насидевшись, мы для начала сорвались и пробегались, а по возврату началось то, чего опасались Старшой с Курумканом. Нам с Пулькой делить было нечего, и, наоборот, нашлась масса общих тем, а вот Таган с Сободем устроили стратегический кризис. Рыча небывало грозно и вздыбив загривки, они минут десять деревянно ходили друг перед другом. С дрожью и замедленной протяжкой в движениях. Никому не хотелось быть покусанным, но Соболю обязан был показать, кто хозяин, а Таган — кто воин. В общем, обошлось. Но за кое-кого было стыдно. Старшой при Курумкане разговаривал с нами показательно грубо, в духе «а ну нельзя смотре-е-еть, кому сказал нельзя-я... тебе строгаю, ага!»; но выходя в одиночку, слюняво и льстиво к нам примазывался.

Таган отворачивался, а когда Старшой с Курумканом удалились в избушку с чировой⁸ строганиной на дощечке, Таган фыркнул, а Соболю сказал:

— Да расслабься. У моего такая же ерунда. Чуть попадет за кадык, и пошло — то мил, то debil... Терпеть не могу... Еще запахна этот... Брррр...

Утром разбежались. Старшой, мрачней, прогнал через две избушки ходом. У базы скатились на реку вслед за Старшим и, погнавшись за норкой, так и бежали тем берегом, пока не оказались напротив избушки, отрезанные полынью. Заостряю на этом внимание, чтобы подчеркнуть противоречивость нашего нрава: в самый трагический миг беспокойства за Рыжика, мы развлекались с норкой, а потом прозевали полынью. Усевшись на льду и слыша, как Старшой затопляет печку, возится с санями и гремит нашими тазами, мы взорали жалобно и честно, доказывая, что есть вещи, которые даже самые знающие собаки, вроде Тагана, не понимают. Это касается вообще пространственной геометрии: куда огибать, где что зацепится, куда отыграет, заломит и прочее.

Старшой вышел, поговорил с нами, долго махал руками, показывая куда обегать, а мы виляли хвостами и не могли понять, зачем нас гонят обратно на Курумкан, раз мы домой хотим. Собаку невозможно прогнать или заставить что-то обойти, будучи от нее на расстоянии, хотя накоротке мы понимаем все. Много противоречий в Собачьем мире. Но главное — не противоречья искать, а Собачье любить.

Старшой это знал и поехал за нами, терпеливо выгоняя полверсты полыни туда-обратно. Когда приближался, мы только виляли хвостами, а когда подъехал и развернулся, весело вскочили и побежали.

Не считая свежих старшовских разворотов, у базы все было мертво и присыпано тонкой синей пудрой, только клесты набегали возле чайной заварки. Особенно безжизненно выглядел кутух Рыжика с ошейником на гвоздике и цепочкой. Когда прогрелась избушка, Старшой вдруг сел на снегоход и рванул по путику. Мы с Таганом переглянулись. Мороз, будь здоров какое расстояние, отпаханное без передыха и еще полынью эта: команды нет и можно остаться. Потом я не выдержал — больно тревожно было на душе — и побежал следом. А перед тем как побежать, оглянулся: тяжелым взглядом смотрел на меня Таган. Уже подходил к концу тупиковый путь, тот самый, который, по мнению Рыжика, плохо «кормил», как

⁸ Чир — изумительная белая рыба из отряда лососеобразных (семейство сиговые).

вдруг раздался выстрел и краткий взвизг. Меня на мгновение замутило, и подкосились лапы. Потом навстречу пронесся, ослепив фарой, Старшой: «Айда, Серый, айда!» — крикнул он громким и голым голосом. Я побежал за ним, не ощущая ни мороза, ни выхлопа и чувствуя, как нелепо трясется моя нижняя челюсть, да и все собачье лицо.

— Завтра гляну, чо там было, — сказал Таган мрачно. — Да и так понятно: копец лапе... В конце, говоришь, дороги?

— Ну.

— Там сначала рассыпья, ну камни под снегом, шапки такие прямо, и голый склон справа, а потом гарь подходит. Еще копанина медвежья, но ее засыпало.

— Да-да. Там.

— Там на земле один капкан, единственный. Остальные жердушки. Знаю я этот капкан. Трет-тый номер. Полотняный.

— Еееее! — вырвалось у меня. Капкан был без тарелки, с натянутой на рамку тканью, нитка связывала тряпку с насторожкой. Рыжик такие не знал.

— Но. На росомаху. Это — все. Считай, по локоть. И сколько еще отморожено... Считай, четвертый день.

— Да почему его нельзя было... оставить-то? Ну и бегал бы на трех лапах!

Видно было, что Таган не хотел разговаривать. Он и смотрел вбок. Несколько раз делал движение повернуть ко мне голову и открыть рот, но останавливался. Потом все-таки сказал раздраженно:

— Да так не делается потому что! — И передернул шкурой, а потом повернулся и посмотрел в глаза: — Потому что воровитесь никогда до добра не доводит. Потому что, если пошел по капканам — затравился, вкус почуял — все, не остановишь. Бесполезно. Добро б еще работник был. А то тоже... Пятку сколько раз гонял. Облаивался. Я уж молчу, как говорится... А потом — сейчас промысел, самый разгар, куда его? Это просто обуза, понимаешь? Да и кормить троих... Раньше думать надо было... У нас вон Серый был, давно совсем... — И он заговорил медленней, будто нащупав почву: — Тебя в честь его назвали. Дак Старшой его до последнего дня с ложки кормил... Когда у него лапы отнялись. До самого последнего дня... От так от. — Таган помолчал: — А как у... как убивался потом... — Таган отвернулся и хрипло фыркнул-храпнул, а потом добавил неестественно громко: — Так что гордись.

6. СТАРШОЙ

Потом все глубели-голубели снега, все углублялась канава дороги, и неистовой пуржило на тепло и лютовало в морозы. Казалось, чуть звезданет, чуть отодвинется облачная вьюшка-задвижка — и стремительней улетит тепло, ухнет перепадом от минуса пяти до пятидесяти.

От нас уже мало толку было, да и Старшой все меньше ходил пешком, а больше ездил и раньше приезжал. Дольше стали темные вечера. Дольше лежание в кутухах.

После большого и трудного круга, вернулись мы на базу, и на следующий день Старшой устроил выходной. Утром никуда не пошли. Хотя и погода остепенилась. Зима набрала ход, и стояла такая серединка: откат от морозца на тепло, но только теплом стало двадцать пять.

С утра Старшой встал не спеша, и мы хорошо слышали его печные манипуляции и видели, как поначалу нехотя пошел дым из трубы, потом обильно и бело повалил, а потом, взвив хлопья сажи к задумчиво-голым лиственницам, задрожал горячей струей. Столько слоисто-плотного снега лежало на крыше, что труба еле торчала из закопченной снежной воронки. Воронку эту я изучил, забравшись на крышу по снежному мосту с пристройки.

Расслабленный Старшой первым делом особенно сытно накормил нас, с вечера сварив нам полный добавочный таз. Совпало, что и у Курумкана оказался выходной, точнее полувыходной, и тот был на связи, с обеда собираясь «прошвырнуть» по короткой дорожке». Чаепитие Старшого шло за разговором, смехотворность которого просто поражала. Обсуждалась способность зверья соображать.

— Да чо там говорить! Ослу ясно, что они не хуже нас шарят, — искаженно верещал Курумкан. — Возьми, к примеру, вот снег оглубел... Как соболь знает, что его собака не возьмет? Он же, гад, верхом прошел пару кедрин, а потом прыг — и ка-а-ак по полу вчистит!

— Знат, что кобель не возьмет! — продребезжал дед с позывным Щучье.

— Да к я и спрашиваю, Дяа Миша, как он знат-то?

— Да он, паря, лучше тебя знат...

— Ясно, Дяа Миш! — сказал Старшой. — А как Таган знает, куда я пойду на развилке?

— Мужики, вы чо как маленькие? — вмешался бубнящий будто в колоду Дашкино. — Вы в курсе, что медведь головой пробует толщину крыши в берлоге? Привстает и пробует! На случай, если через крышу катапультироваться придется!

— Да ладно те, Дашкино! Ты с нар давай на путик катапультируйся! А то сидит тут.

— Ты правильно, говорис, Даскино, — прокричал дед Щучье. — Пробует, крепка — нет. Мы раз брали на берлоге, дак он как серт скрозь крысу вылетел, аз землю взвил! Это у вас ум. А у ево понятте.

— Да чо ты говоришь — медведь... — засоглашались мужики. — А сохат?

— А ушкан? — крикнул Щучье про зайцев.

— Ладно, вас не переслушаешь, — сказал Старшой, попрощался и вышел на улицу с пилой.

Он любил березовые дрова за жар и несмолистость. За лето просохшее полено шло с растопкой — с завитой каменной берестиной, которую Старшой с хрустом отрывал, и этот утренний звук мы хорошо знали. Береза — особый разговор. Бледно-желтая затеска на ней странно глядится среди снега. Верхний слой бересты отстает лопнувшим пояском, и нежные ошметочки, кудряшки-гармошки теребит ветром. Бывает и поплотней слоек, в розовинку. Мы любили кусать, играть ими и, ткнув носом под отставшую шкуру, удивляться, какая шершаво-прохладная сама береза и будто влажная. До чего нежна природа, пока не оступишься.

А теперь все по порядку. Хозяйственная возня отвлекла меня от тягостных раздумий. По случаю праздника мы с Таганом получили по мерзлой щучьей голове, которую грызли, кровя десны, но с азартом. Таган грыз у избушки рядом с колочной чуркой, а я отбежал подальше, добыв сразу двух ушканов: был застрахован от нападения Тагана, на случай экспроприации у меня «щучьей головы», и присутствовал при хозработах на приизбушечной территории. Потому что Старшой пошел туда же с пилой, и вовсю атапывал березину... Я расположился на снеговой дорожке метрах в двадцати под другой березой, так что видел Старшого с его приготовлениями, контролировал Тагана и мог в случае его нападения в сжатые сроки достичь Старшого, поскольку и туда вела дорога.

Удивительно, как хороша в выходной щучка голова, даже самая мерзлая, и как странно бела береза, и как светло-желты опилки на снежном фоне. А звук пилы на морозе особенно шелестящий, дребезжащий и словно обернут во что-то шуршащее, — подумал я и даже пожалел, что сейчас нет такого мороза.

Чтобы лучше понять дальнейшее, надо усвоить три обстоятельства. Одно из них — отношение собак к лесоповальным работам. Собака совершенно не боится падающих лесин и даже, наоборот, вертится рядом, потому что... Вот никогда не догадаетесь, хоть мы об этом и говорили. Собака не боится такой лесины, потому

что у нее четкая увязка с добрым, но застрявшим в ней соболем. И когда охотник валит кедр, пихту, березу, она, едва дождавшись, когда лесина ляжет, уже сует туда свой нос. А иногда — и не дождавшись. И неважно, что лесина голая и с виду пустая — важнее правило: проверь.

Теперь второе, очень важное обстоятельство, о котором я вам также рассказывал. Оно состоит в том, что соображения, куда какая полетит лесина и обо что сыграет, или как вагой задрать снегоход и как работают двигатель внутреннего или внешнего сгорания и прочие кривошипно-шатунные штуки, — так вот эти соображения я называю «коленвал-коза-капуста» и болею от них неизменно. Разве только могу объяснить, куда идет шатун. Он идет в избушку хрюпать меня и охотника.

И, наконец, три: собаку нашего воспитания, сидящую на расстоянии от хозяина, ни окриком, ни угрозой нельзя заставить переместиться или отбежать с места. Вы скажете: ее можно позвать. Я отвечу: да, можно позвать голодную собаку, можно позвать собаку, стосковавшуюся по ласке или соболиному следу, можно многое. Но позвать собаку, которая ест щучку бошку, нельзя, потому что она решит, что щучку бошку хотят отобрать, так как у хозяина с такой собакой четкая увязка: собака щучку бошку сперла.

Предчувствую упреки, что, похоронив брата, я затеял игры в щучью голову и погряз в литературном созерцании. Так вот такой вывод — суть полное непонимание собачьей сути, а суть эта — в крайне веселом нашем нраве, который по сравнению с нашей трудовой и, я бы сказал, даже героической составляющей выглядит по-детски, хотя на самом деле лишь уравнивает одно другим. Вот это врожденное веселье и есть ядро нашего Собачьего, за которое нас любят, подзаряжаясь искренней нашей энергией. Хотя много всего у нас в характере. Например, мы обожаем валяться в снегу и смешить незнающих, что это обычная чистка одежды. При этом наряду со снегом можем выбрать в качестве коврика мерзейшую пропастину-тухлятину. Рыжик, правда, вычитал, что это для сокрытия хищного запаха от будущей «жертвы». Ложь. Просто, иногда хочется в дряни поваляться. Не все ж чистеньким бегать.

Так вот, режущий звук бензопилы... Вонькое облачко. Мерзлое дерево. Острая цепь. Дрожь по стволу, которую и на расстоянии чувствую. Слабенькое, будто севшее, зимнее небо.

Старшой в куртке-суконке, оранжевая бензопила и два дерева рядом: береза с развилкой у вершины — левее, и елка — правее. Он взялся валить березу. Отоптался... Поражаюсь, конечно, как он все делает. Мастерски. Со стороны, куда валить, то есть с моей, он двумя резами выпилил дольку и выкинул ее моментальным движением шины и не глуша пилы. Потом заорал: «А ну вали оттуда!» А я положил полусъеденную голову, куснул и пожевал снег, повилал хвостом и снова взялся за голову, крепко сжав лапами.

Зазудела, взревели, пила, и Старшой заорал: «Серый! Серый, блин, пшел отсюда! Серый, ко мне! Серый, козел!» Я продолжал держать голову, а когда лесина повалилась, отпрыгнул и, предвкушая, как сунусь в нее в поисках белки или соболя. И вдруг что-то сбилось в мире — и падающая лесина замерла с морозным треском, и раздался взрык Старшого, переходящий в кряхтящий полустон. Старшой не бежал к вершине, высматривая соболюшку, а лежал на спине с перекошенным лицом, и левая рука сжимала и разжимала снег.

Мутит, но попытаюсь все объяснить по порядку. Береза была с развилкой на конце. Не довел ли Старшой рез, отвлекаясь на меня? Мерзлая ли лесина, будучи кривоватой, раньше времени сыграла-скрутилась, подорвав волокна и уйдя в сторону от места, куда целил Старшой... Но знаю одно: когда она пошла, он глядел на меня и даже кинул в меня верхонку, а в этот момент лесина упала развилкой на

другую березу и съехав по ней, соскочила с пенька и уткнулась в снег под углом. Всем весом. Эх... Правая нога Старшого удобно стояла у шершавого комля елки, он не успел ее отдернуть и ее припечатало к комлю всей силой падающего мерзлого дерева.

За что люблю этих мужиков и с ними пойду хоть куда, хоть под пули — Старшой все, как положено, сделал. Комар не подточит. В начале его, видимо, мутило от боли, но он чуть отлежался, дотянулся до пилы и завел. Все ступеньками делал: дернул — не завелась, сыграла на весу без упора, рывка не получилось. Полежал, крихтя, что-то приговаривая, морща побелевшее лицо. Снова приладился, дернул и, заведя, чуть подержал на груди, откинувшись на снег. Потом стал пилить, но смотреть было страшно: этот зуд, гулко отдающийся по стволу, упирался, лился в зажатую мякоть ступни. Чтобы легче расшатать, ослабить стволину, он сделал два реза, две чурки, два колена, и самое трудное настало — выбить их свободной ногой, выломить углом, и мгновенно вытащить ногу и откатиться. Изпод березы, которая всем весом съедет, дообрушится. Все сделал. Выкатился. Попробовал стать на четвереньки и ползти, но нога не давала, цеплялась. Тогда перевернулся на спину и полз на локтях, поднимая ногу, и еще и пилу тащил. Они все в этом. Такие мужики. Еще дверь в избушку открыть надо было. Но дополз.

Ногу отеком разбомбило. Резал бродень. Нас позвал. Я лизал ногу. Кусок оленья... Лилово-красное.

Заполз на нары и включил радию. Еще недавно все орали, как дурные, а теперь стояла тишина, только что-то мерно тикало, да переговаривались уродливо-утробно радиолюбители: «Батарея, батарея — я турбина, как принял?» Наконец, Старшой докричался до женщины с позывным «Улукан», которая сказала:

— Да я кого вызову? Сама сижу тут. Нас тут семь домов. Только вечером связь по полям.

У Старшого был младший брат Валя — давно горожанин и коммерсант. Он дал Старшому на охоту свой спутниковый телефон. Телефон брал сигнал лишь на открытом месте. Старшой уполз на берег и вызвал санзадание. Нас увезли в район.

7. ГАЛЕТКА

Старшому лечили множественный перелом стопы, а нас с Таганом главврач отправил в поселок на проходящем вертолете. Связали веревкой, и мы были как дружка веников. Вертолет прилетел утром потемну и подсел только ради нас. Нас выкинули, и мы ломанулись, чудом нигде не зацепившись, и только у нашей ограды закрутились за штакетину, где нас отпугнул маленький Никитка, идущий в школу и крикнувший маме: «Папа, наверно, Рыжика с собой в больницу взял!»

Этот путь в «дружке» с Таганом был для меня особым. Таган наверняка не придавал этому значения, но я внутренне сиял. Что Таган при всем своем, как мне казалось, презрении ко мне, оказался увязанным со мной воедино и вынужден был послушно подергиваться на мои рывки.

Старшого привезли вскоре с загипсованной стопой. Догадываюсь, в каком он пребывал убийственном огорчении, когда пропадал сезон и надежда на заработок. Не считая нас, на его шее сидели жена, двое детей, дочка и сын, и прорва крученых родственников.

Прошел Новый год. Капканы стояли непроверенными второй месяц, и вдруг в начале января после перерыва в несколько лет приехал брат Валя и взялся «запустить капканья». Приехал он на своем снегоходе с большого поселка, куда в свою очередь приехал по зимнику на своей же машине и с прицепом, у которого по дороге что-то оторвало. В тайгу он тоже собирался на своем снегоходе — не в меру

разлапистом, малиновом с искрой и кучей штурк, которыми так гордился, что рвался в бой. У Вали было условие — берет собаку, а без нее не поедет: то ли боялся, то ли хотел компании. Понимаю и поддерживаю: с собакой в тайге веселей.

В эту пору, а стоял морозный январь, собак не берут: толку от нас нет, только лишняя готовка да постоянное ожидание, если далеко ехать. Новые снегоходы, проскакивая наледи, несутся с огромной скоростью, которая теряет смысл, если все время вставать и ждать собаку. Старшой не хотел кого-то из нас отправлять, но Валя уперся, и пришлось отправить меня. Я другого и не ждал. «Нашли молодого», — поворчал я для форсу, потому что как всякая молодая собака поддерживал любой поход и стремился в дорогу. Предусмотрительный Старшой отправил Валиу в паре с Курумканом, который промышлял выше нас по реке. Встал вопрос: как со мной быть, чтоб не ждать. Старшой и тут нашелся: дал огромный сундук, который якобы давным-давно собирался забросить на базу «хранить хахоряндия, да и сидеть кудревастенько». В общем, меня предполагалось везти в сундуке. Хорошенькое дельце. В сундуках не ездили! Как не вспомнить Рыжика... Поеду как хахоряндия... Хоть не как веник.

Валиу снарядили нарточкой, куда воткнули сундук. Курумкан вез бензин в канистрах, полные сани. Меня решили сначала «добром прогнать», чтоб успокоился и не норовил «куда-нибудь дунуть и влететь Коршунятам в капкан», а потом уже упечь в сундучину. Старшой, надо отдать ему должное, натолкал туда сена и еще мерзлого налива бросил — «чтоб не скучал!»

С утра подъехал Курумкан, и вот стоим у ворот: Курумкан на своем белом испоркна «армейце» со стеклом, зашитым проволокой, и с багажным ящиком, грубо свернутом из жести. И к ящику приклепанный чехол для топора. Камусные лыжи засунуты под веревочку сбоку вдоль подножки. Лежат как оперение — шкурой наружу, пятнистые, выразительно-живые. Валентин на малиновом огромном агрегате, с широченным разносом лыж. На что я пень в технике, и то подумал — как он поедет по старшовским дорогам? «Армеец» Курумкана пах железной окалиной и подгорелым маслом, Валин «малинник» распространял сложнейший букет: запах неизношенной резины, тоже масла, но какого-то вкусного, добротного, как выяснилось, специального американского, с запахом клубники, пластиком и еще чем-то... Наверное, достатком, — подумал я. Поджарый Курумкан пах выхлопом, костром и шапками, а располневший Валя — ароматической салфеткой и утренняя вискарью.

Дальнейшее пропускаю, ибо был упакован в сундук и выпущен, когда съехали на реку. Сначала «передом» пошел Курумкан, несмотря на поползновение Вали дать «копоти» на своем «малиннике», который был в два раз мощнее, в связи с чем называлось умопомрачительное количество непарнокопытных («кобыл», «кляч» и «коней»), которые, как я понял, именно с мощью и связаны.

Курумкан ехал передом, пока была дорога, а когда пошел целик, пустил многокобыльного Валентина, настрого приказав останавливаться только на берегу и залавке, потому что «вода под снегом» и что, если вода — то «тапок в пол — и вперед». Меня пустили «добром прогнаться». Я бежал, нюхая едкую клубнику и вспоминая рассказы Тагана о прежних временах. Выходило, что раньше при встрече охотники говорили о лыжах, нартах и кулемках, о бересте, камусе, дегте, а теперь об особенностях бесконечного числа снегоходов, бортовых каких-то компьютеров, сканерах и том, сколько они стоят. И мне казалось, что если разговорами о коже и дереве охотники поддерживали теплый собачий мир тайги, то в последних дебатах не было ни объема, ни привязки к месту — лишь стынь технологий и уход от смыслов.

Валя решил резануть с мыса на мыс, благо у «малинника» было «дури немеряно» и он так «натопил», напустил клубники, что превратился в сизую точку. По-

том вдруг остановился, и я услышал ругань подъехавшего Курумкана. «На хрен встал здесь! Вода кругом! Видишь, вон полынья у мыса!» Валя ответил: «Да лан, Толян, давай пофотаемся — смотри, место козырное! Мы в том ручье с батеи медведя добыли». Картина и впрямь ворожила: кедровый увал, волокнистая полоса пара из полыньи и желтый свет солнца, вышедшего из-за сизого длинного облака.

Под снегом была вода, и я прилег выкусить лед, налипший на шерсть меж подушек. Валя достал фляжку, но Курумкан пресек порыв, сказав, «что ехать и все потом». И, мол, все, хорошо, поехали. Валя рванул, уйдя в точку, а Курумкан с тяжеленным возом засел в наледь. Вскоре явился Валя и попытался вытащить Курумкана, но зарылся еще хуже. Булькал, истощено газуя в зеленую траншею. «Не газуй, бляха!» — орал Курумкан. Вале мешал карабин с оптикой, он его то снимал и втыкал в снег, то надевал, и на прикладе образовалась ледяная блямба.

Курумкан взял бразды, сел на «малинника», потихоньку раскатал колею и моментально освоившись на нем, вытащил и свой снегоход, и перецепил сани... На чем заканчиваю, ибо началась коза-капуста. А главное, что Валя хотел похвататься «малинником», а оказался посрамлен. Только и сказал: «Да, вот что значит профи!» И, полный, стоял кулем в пухлом сизом костюме с кучей карманов и ярко-желтых молний. С оленем, выштопанным желтой ниткой. Олень был не северный. Марал, наверное. Или изюбряк.

В конце концов, выехали на твердое, околотили снегоходы и посадили меня в сундук, так что дальнейшее путешествие я могу описать лишь по реву и дерготне Валениного снегохода и крикам:

— Ты чо, блин! Смотри хоть, куда едешь-то. Маленько в дыру не влетел! Здесь же промывает!

Или:

— Еооо! Стой-стой-стой! Валя, ты чо газуешь?! На хрен ты полез сюда?! Не видишь, зеленое все, водищцу выдавлят морозы, лед садится. Ямки заливат...

— Выпустить, может, его?

— Да не хрен. Пускай сидит. Хе...

— Новая порода — сундучная лайка. Кстати, как агрегат?

— Твой-то? Зверь.

— Покупай!

— Гузка узкая. А ты продавать что ль надумал?

— Ну. Чо, погнали?

Потом меня выпустили, и мы заночевали в избушке. Наутро все повторилось. В общем, дотрясся я в сундуке до нашей базы. Вечером Курумкан с Валею праздновали приезд, а утром расстались. Курумкан уехал дальше, а мы с Валентином двигались уже тайгой, проверяя и закрывая ловушки.

Валя ехал трудно. Скоростной «малинник» с широченным разнесом лыж не вписывался между пихт и кедров и все время застревал. На дорогу понагибало березок, одавленных снегом. Вале приходилось слезать и, утопая в снегу, рубить мерзлые арки. Топор звенел, отскакивал и однажды вылетел из руки в скользкой рукавице, и Валя его еле нашел в пухляке. Валя наехал на согнутую дугой березу и повис лыжами. Береза лежала: слева комель, справа вершина. Валя срубил правее дороги, и обрубок ствола, на котором висел снегоход, вырвался, выпрямился и сильнее снегоход задрал. Одет Валя был слишком тепло для леса. Он то и дело садился на сиденье и, сняв стеганный трех, тяжело дышал. Тек пот с красного лица. Лицо полное, круглое, с двойным подбородком. Звал меня, гладил, качал головой: «Смотри, упрел как... А у тебя-то четыре ноги? Четыре? Да? А какая морда у тебя... Какой нос кирзовый, хорошая собака, хорошая... найдешь мне соболя? Или глухаря? Найдешь?»

Глухаря я нашел — прямо на нашей дороге на кедре. Валя добыл его из своего оглушительного карабина. Подбежал радостный, возбужденный. А дальше...

Дальше произошло событие незначительное, но для меня символичное. Все вы знаете картину отличившейся собаки: выражение ее ворсистой морды, открытой улыбающейся пасти и сияющих радостью глаз, когда она стоит по-над добычей и, уже оттрепав ее, нет-нет да пожамкает и лизнет. И вся ходит ходуном, а когда глухаря или соболя подберут и держат на высоте, прыгает, пытается достать, и как наполнено счастливое это прыганье трудовой гордостью.

Валентин стал меня хвалить, и я, зная, что все правильно сделал, из вежливости повялил хвостом. А раньше, в самый разгар возни-прыганья, Валентин, собираясь подобрать глухаря, вдруг зашарил по многочисленным карманам, достал из кармана галетку и сунул мне в рот. Я был настолько разгорячен, что сначала не понял, в чем дело, и отторг галетку, даже не подержав во рту, хотя, возможно, со стороны это выглядело, что я выплюнул, выкинул и отверг, а она отлетела — ничемная. Хотя в другой раз я бы полцарства собачьего отдал за такую галетку.

Валя, видимо, вычитал в каком-нибудь руководстве про «поощрение питомца лакомством» и, подобрав галету, несколько раз попытался, придержав меня, всунуть, всунуть ее в горячую пасть, где всем — и зубам и языку было не до галеток, и я помню, язык ее даже выталкивал — насколько несовместима была эта галетка с запахом глухаря, моим азартом и всем духом происходящего. С грозным и героическим падением глухаря, хлопаньем крыльев и сломанной веткой. И с моей нервотрешкой, ибо я переживал: не смажет ли Валя, зная, как он управляется с «малинником» и опасаясь, что с новым девственным карабином будет то же самое. Да и оптика вызывала сомнения на таком коротке, а Валя полчасика снимал с нее чехольчики и совал по карманам, борясь с молниями.

Старшой в жизни не тыкал нам «лакомства», во-первых, потому что для него это наверняка отдавало инструкцией, а во-вторых, потому что он полностью разделял наш восторг добытчика и был его частью, а подачка выглядела кощунством. Да и несоизмерен красавец-глухарь с галеткой! Калибр разный!

Задним числом я не раз пытался представить, как это выглядело со стороны. Как Валя пытается мне засунуть в рот галетку, и вместо порывистого хватающего, вырывающего моего движения — встречает отторжение. И как меня прострелило детским ощущением — когда суют таблетку, и я ее выплевываю, выталкиваю языком... И как потом жалко стало бедную галетку, но я недолго грустил, зная, как прекрасно съедят ее мыши.

Почему я так заостряюсь на этом эпизоде — потому что мне докладывал об этом Кекс, старшовский кот, к которому перехожу, поскольку больше о походе с Валентином сказать нечего. В его описание я встрял за ради галетки. И выходит, она свое взяла. Так вот, у Старших (так буду называть семейство Старшого) три кошки: Мурзик, Пуша и Кекс, в чьем названии есть детский след, и это понятно. Дак вот, с Кексом мы вместе росли. Нас с Рыжиком щенками тетя Света затаскивала домой, Кекс тогда был котенком, и мы играли безо всякой неприязни: в ту пору в голову не приходило собачиться (и кошачиться) из идейных соображений. Оба были мировоззренчески девственны.

Во мне дело или в Кексе, но совместные игры не забылись, и, бывало, встретившись на улице, мы с Кексом общались запросто, если, конечно, поблизости не было Тагана. Кекс эти беседы любил, тянулся к Собачьему, а я имел политический интерес: поскольку «в избу» меня не пускали, а через Кекса я мог узнавать, о чем говорится, так сказать, в эшелонах власти и к каким переменам нам, собачьему люду, готовиться.

И вот по приезду, точнее прибегу в поселок, а прибеги были потому, что сундук сгрузили и я бежал, а Валентин ждал... Значит, по прибегу в поселок и по волнам

исходящим от Старшего, а собака к волнам чутки, я понял, что нечто происходит. Вскоре я встретил Кекса, который доложил обстановку. В частности, из его слов следовало, что Валентин на меня «нажаловался», что мол, «да, хороший кобелек, рабочий, глухаря нашел, но и фрукт тоже, пренебрег» его даром и повел себя «невоспитанно», «нос задирает» и так далее. Я уверен, Кекс накрутил отсбятины, и таким образом разрыхлил почву для дальнейших отношений. По обыкновению начал ратовать за Собачье и повел разговор в вечном своем духе: «Эх, ну заставьте вы меня на охоту пойти! Конечно, мы тут зажирили...» и так далее. Мол, нам хорошо: в тайгу ушли, а у него забот и ответственности полон рот, и вроде как мы — легкомысленные, а он такой отягощенный. И грозно добавил:

— Нынче точно соберусь. Так что, готовьтесь, — и добавил другим тоном, будто предыдущую тему он отработал для формальности: — Да, дак вот про галетку — все цветочки, а оказывается, дядя Валя-то неспроста приехал, и дело пахнет... в общем, это больше вас касается... дак вот...

В этот момент Кекс, зашипев, взвился по столбу и шмыгнул под крышу веранды, потому что раздался громовой скрип-топот Тагана, вернувшегося с охраны западных границ нашего участка. Схватив и завалив меня, Таган зарычал:

— Чо с ним тер? Смотри, еще раз увижу, даже на варежки не пойдешь!

И Таган выронил мой загривок примерно так же, как я знаменитую галетку, и ядром стрельнув за ворота, уже задираю ногу над чуркой. Зыркнув на пробежавший кортеж младшего Коршуненка, едущего по воду и состоящего из трех псов — двух нормальных и одного хаски, рявкнул: «Чо палишься? Вороты не видел? Вали давай!» и взрыл снег задними лапами, засыпая встречные аргументы.

Весь вечер я гулял и размышлял над выплюнутой галеткой. Как быть в таких случаях. Может, брать, чтоб не обижать? Не выглядеть чистоплюем? Ведь Валя отблагодарить хотел! Как мог. Но как объяснить, что я не за галетку работаю!? Не знаю... Мне кажется, тут вера первому движению сердца...

Я проходил мимо веранды и услышал хриплый нарастающий мям. Кекс опрометью бежал мимо с прокусанным ухом и расцарапанной мордой: «Короче, мне тоже нагорело... от Пушки и Мурзика. Теперь, если понадобится — выйду, придавишь меня, я заору... Ну и поговорим. Только не сильно дави-то. Давай! Через пару часиков погавкай».

В указанный час я погавкал. Таган как раз убежал на охрану юго-восточных границ. Там проезжали трактора с деляны и елозили хлыстами... С Кексом я все сделал, как договаривались:

— Помогите! Задавили!..

— Попался, козел! Не дергайся! Чо тут шарисся?! Нашел диван! — сказал я и замер: вылетел Таган, скакавший с обходом:

— Чо он там? Буксует? Помочь?

— Да не, дя. Ровно все. Разберусь!

— Дави его на хрен! Я погнал тогда, там старшие Коршунята оборзели.

В общем, Кекс просипел, что Валя приехал неспроста, что продает «малинник» и что «малинником» дело не кончается...

— Да что там такое?

— Не переусердствуй! Дорвался... — сипнул Кекс. — Брат хочет долю продать! Все... до связи! — вырвался Кекс и с криком «Задавили!» взмыл под крышу веранды.

Вечером братьевья парились в бане. Валя бегал в снег, а Старшому не позволяла нога, но оба так базланили в предбаннике, что мне не стоило труда расположиться поодаль с верным видом и все слышать, тем более и Валя после похода стал мне «немножко хозяин».

Валя был довольно нудный брат и буквально заталкивал в Старшого свои «сгу-

стившись объективностью», время от времени прерывая словами: «Давай, накладывай» и выпив, продолжал возбуждаться и резиниво нудить, как у него «все рухается» и как его прокуратура «крепит».

Короче, история такова. Валя еще по молодости уехал в город и пустил там корни на охотничьей почве. У него на зоне был знакомый майор, благодаря которому Валя наладил там выпуск капканов и аквариумов и открыл два магазина — охотничий и зоо, где у него, по словам Тагана, даже ручной крокодилчик жил. Благодаря, кстати, которому, я все это и запомнил. Крокодилчик меня поразил страшно, хотелось по нему поработать. Потом магазинов развелось как грибов, ушел майор, и начался запрет на ногозахватывающие капканы, так как Россия подписала международную конвенцию. Тогда Валя решил выпускать гуманные капканы и приперся к Старшему испытывать их с канадцем. Заварилось дело. Ловушки надо было то ли сертифицировать, то ли портифицировать, не помню точно, но знаю, что капкан считался гуманным, если зверек погибал меньше, чем за четыре секунды... или двадцать четыре — точно не помню. В общем, гуманный капкан.

А теперь разберемся, почему собаки ка-те-го-ри-чес-ки против гуманных капканов?! И что это за капкан, и как он работает? А так: зверек проходит через рамку, которая мощнейшими пружинами складывается и шархает за тело так, что зверьку приходит моментальный конец. Пружины столь сильны, что охотникам, говорят, отшибало пальцы. А теперь давайте вернемся в нашу осень и вспомним краеугольное мероприятие, от которого, как мы теперь знаем, столько зависит.

Да. Представьте, как ставить гуманные капканы на собак! Цинизм и тупорыльность канадцев в том, что они не подумали про собак! О норках и соболях валютных подумали, а о собаках — нет! Ни за четыре, ни за двадцать четыре секунды Старшой не соскочит с нар, не нашарит калошки и не добежит до молодой собаки, попавшей в гуманный капкан. А вы представляете, с какой силой лупанет по лапе, если соболя сплющивает в лепешку!? Лапу-то отшибать будет сразу! Вот к чему приводит бездумный перенос на нашу почву заморских начинаний. Факт существования таких псевдогуманных капканов меня возмутил сам по себе, но когда я узнал про конвенцию и Валины капканные планы — у меня произошел нервный срыв. Хорошо, что отходчивость — ценнейшее свойство Собак.

В общем, майор ушел, Валя «вложился» в гуманные капканы, а дальше началась коленвал-коза-капуста с долгами, кредитами и какими-то приставами, которые приставали к Вале, и ему понадобилась куча денег. И вот он продает «клубничник» и десять литров малинного масла. В смысле, наоборот... А дальше начинается самое плохое.

Выдохнем.

Охотничий участок Деда Вовы принадлежал пополам двум братьевьям, Старшому и Валентину, таким образом, что у Старшого была своя половина, а у Валентина — своя. Но Старшой по обоюдной договоренности опромышлял обе части. Теперь грянуло: у брата Вали плохи дела, и он собирается продать свою половину.

Деньги требовались срочно, поэтому Старшой стоял перед выбором: либо самому выкупать, либо — долю выкупят. А желающих было — прорва! Но совсем плохое, что соседями с Валиной, ближней к поселку, стороны были те самые Коршунята — сыновья одного коммерсанта, ребята циничные и технологичные. Тайга была им лишь средством «поднять денег». Гребли все: били оленей табунами на продажу. С весны до осени хлестали с туристами рыбу. И были настолько капроново-синтепоновые, что Старшой говорил: «Это не промысловики, это — роботы...»

Роботы заезжали на охоту по снегу на шведском вездеходе. А собачья политика такая: «Мы все просчитали — нерентабельно. Она базлает, я пока иду до нее и обратно — лучше двадцать ловушек настоужу».

— Валя, ты чо! Какие Коршунята? Там, на Хаканачах, меж двух сопок как раз

самый ход соболя, они там огород поставят и мне все перекроют. А весной за сохатым и оленем сто пудов ко мне нырять будут! Я же не буду там сидеть безвылазно. А на речке баз понастроят, будут турье возить. Вообще перекроют кислород. И еще выезжать через них. По моим избушкам. Да и я там сколько вложил сил. Кулемника одного нарубил сколь! Да если б и не влаживался. Один хрен. Мне такие соседи не нужны!

— Да понятно, брат! — отвечал Валя. — Но ты меня пойми! Меня! Мне край! Ты меня ставишь!

Старшой крякнул:

— Да ясно все. Короче, не продавай никому. Все. Заберу.

— А я не тороплю, — расслабленно отвечал Валя. — Неделя есть. Не тороплю. Накладывай! А Серый твой — гордец! Горде-е-ец! Как он галетину выплюнул!

На этом мое развед-везенье кончилось. Во-первых, едва я пытался давануть котофея, как появлялся грозный Таган, и Кекс взмывал под крышу. Во-вторых, нас с Таганом посадили в вольер. И вот перед глазами сетка с прилипшим собачим пухом и пометом. Она пузырем продавлена нашими лапами — собаки любят кидаться на сетку, причем в одном месте — где просится прыжок после кругового пробега. Поскольку решалась судьба нашего охотничьего будущего, мне пришлось все выложить Тагану. Он взъярился и для начала сделал несколько кругов по вольеру с бросками на сетку. Потом подошел и рыкнул больше себе в укор:

— А я чую, неладно! — Потом мощно взрыл снег задними лапами. — Кекс еще этот в мороз завывал. Я же понял все, чо смеются! Тоже конспираторы. А то я смотрю, Коршунята приборзели. Ага. Хрен вам в норки. — Он пару раз метнулся по вольеру и снова взрыл снег. — Да ты понимаешь, на что ты меня толкаешь?! С Кексом этим... А если узнают?! Те же Коршунята. Это же нарушение всех понятий. Башка пухнет с вами. Кошарня еще эта... Они и не жили здесь... Понаехали... Будто бы сами с мышами не справились! Чо они там опять? — И он кивнул на избу. И, помолчав, передернул шеей: — Лан, дави Кекса! — И скрылся в будку, гулко стукнув внутри сильным телом и задернув брезент.

Вечером Кекс подскочил к вольеру и, увидев таганий нос, заходивший резными клапанками, остановился в недоумении.

— Скажи, пусть лезет — не тронем. И орет погромче, — пробубнил Таган из будки. — Позорище.

— Точно не тронет? — тихо спросил Кекс.

— Да, точно, точно, — успокоил я, — давай быстрее!

Кекс перескочил сетку, и я выдавил из него такое, что даже Таган ахнул.

8. СОЧИНЕНИЕ

Все нижеследующее является моей художественной версией, реконструкцией произошедшего, поскольку Кекс в перерывах между мерзопакостным своим воем передал только основные вехи событий, и было бы унижительно для повествования передавать лишь эти, извиняюсь за каламбур, кошачьи выжимки.

Для начала семейный пейзаж Старшого. У Старшого все тянули кто куда: жена — в одно, подрастающая дочь — в другое, теща — в третье, а шурин, детина Дяа Стас, которого все звали Диастасом, вместо того чтобы жениться, был большим фантазером, попивал пиво и большую часть времени проводил за экраном, откуда выуживал прорву разнообразных сведений и мыслей, кои и направлял на мозги чад и домочадцев.

Донимал Старшого купить вездеход, как у Коршунят, поставить в него печку, прорезать в полу люк и через него ставить и проверять капканы «на подрезку», не слезая с банкетки и путешествуя по профилям, когда-то пробитым экспедицией.

В описываемую мною пору на просторах нашей царило два взгляда на роль собак. Один, скажем так, последний, предполагал широкое наше использование как в осенней охоте, так и в остальные сезоны, а в случае нужды — и упряжное подпрягание нас в аварийной или детско-забавной ситуации. Это было внешним проявлением нашей роли, а главное заключалось вообще в нашем наличии и в том значении, которое придавалось общению с нами домочадцев и подпитки их веселым и героическим духом, носителем коего мы от века и являлись. И еще более важное главное — в любви к нам, как к части территории, завещанной предками.

Но находил все большее распространение другой взгляд на собак, опирающийся на одно, с виду здоровое, обстоятельство. Пора так называемой ружейной охоты, то есть охоты с собакой, а не ловушками, в наших сопчатых и потому многоснежных краях очень коротка, и многие заговорили, что невыгодно держать собак ради двух недель охоты. Что важнее — быстро насторожить весь участок, а беготня к лающей собаке — лишь помеха, ведущая к производственным потерям. Даже подсчеты приводились. В часах, километро-ловушках и ловушко-соболях, и прочей коленвал-козе-капусте.

Самой вопиющей была теория отучения собак от работы по соболю и оставление в подмогу лишь как птичницы для добычи привады. Что касается зверовых собак, то они вообще оставались на откуп сугубых любителей. Допускалась трофейная охота с собаками для богатых гостей, ну и собачье-ездовой туризм, с закупкой заморских собак. Будто у нас своих не водилось. Идеи эти витали в воздухе, а стараниями Диастаса внедрялись в сознание старшовских домочадцев, и даже Старшой признавал: «Не, ну действительно охота изменилась. Понятно, по осени для души с собачкой походить — это здорово. Но если охватом берешь, то лучше насторожить побольше. Оно на то и выйдет. Если честно, уже прыти нет. Спина, коленки... Это у них-то четыре ноги, хе-хе. Четыре вэ-дэ». Что за «четыре вэ-дэ», Кекс не понял, просто повторил. Подозреваю, очередной коленвал... Эх... В общем, все сводилось к сворачивания Собачьего дела на наших родовых просторах. Прилагались выкладки, сколько центнеров налима и мешков сечки уходит на одну собаку в год, на четырех, и довод «все это свари!» Плюс налоги на собак, которые вот-вот введут, несмотря на протесты.

Если б это было просто сворачивание! Это была настоящая угроза. Попрание веками сложившихся традиций. И особо прозорливые пророчили распад Собачьего мира и медленную, но планомерную замену наших охотничье-трудовых собак американскими туристически-развлекательными.

Кекс и вовсе говорил умудренно, что, хе-хе, какие, мол, хаски, никто не будет вас убирать и заменять хасками и аляскинскими бала... в смысле маламутами. Все будет гораздо грамотнее. Сделают так, что на вид вы останетесь западно- или восточносибирскими лайками, а вести себя будете, как баламуты... Вот в таких идейных брожениях и протекала наша собачья жизнь в начале текущего века. А теперь к делу.

Новость первая. На новогодние каникулы маленькому Никитке задали сочинение: «Почему воровать нехорошо». Никитка, которого Старшой изо всех сил приучал к таежной и трудовой жизни, написал про «папиных собак» и про то, как «Рыжик пошел по капканьям, а папа его застрелил из «тозовки». Потому что воровать нехорошо». Учительница, приехавшая из города за северным стажем, исправила «капканья» на «капканы», а потом позвонила и выговорила Старшому: мол, что же Вы ребенка к жестокости приучаете? Злющий и издерганный неурядьями Старшой сидел с Валею за столом и только собирался поднять стопку:

— Ну чо, братка Вовка, между первой и второй?

— Помещается еще... Да, я слушаю. Чево-о-о? Ева Архиповна, не надо лезти.

Вы детей учите — и учите, а со своими собаками я сам разберусь. До связи... — И швырнул трубку на кресло. — Кобыла... Давай, Валек.

Расстрел Рыжика Старшой от сына скрывал, сказав, что того волки съели, и правду Никитка случайно подслушал в разговоре.

Вторая новость заключалась в том, что ввиду неудачного охотсезона Старшой крепко подсел по деньгам и было непонятно, на что забрасывать весной по снегу бензин и продукты. Все подвозилось прямо к избушкам, не надо было корячиться на лодке по порогам, да и не все избушки стояли на берегу.

Третья новость: Коршунята осаживали Валентина и чуть не требовали продать половину.

Четвертая: вроде бы Старшой договорился «заниматься под проценты у Шатайлихи, причем сразу на все: и на завоз, и на расчет с Валькой».

Шатайло были поселковые коммерсанты. Руслан — бывший охотовед, а Альбина Сергеевна Шатайло, его жена, хозяйка большого магазина, при которой Руслан был приемщик пушнины и водитель. А для меня Альбина — прежде всего хозяйка несостоявшейся рыжиковой зазнобы Николь, карликовой пуделихи или пуделессы, уж не знаю, как правильно. Альбина была как кряж квадратная, с каштановыми в красноту, крепко завитыми кудряшками, очесанными с боков, и широким открытым загривком. Черты лица крупные, глаза очень красивые, карие навывкате и с розовыми, будто больными, влажными белками, ресницы гнутые и лучистые, и яркая приветливая улыбка. Вся Альбина в дополнительном будто покрытии — пудре, помаде, глазной краске, в колыхах, протеньках и сережках. В крупных, желтково-прозрачных в муть бусах... Покрытие было такое плотное, что казалось, на отдых должно сниматься, позвякивая, усталым пластом.

Норковая шуба, сидящая квадратно, а если сбоку — то от бюста углом и тяжелым щитом до полу. Когда шла — казалось, едет покачиваясь. Шапка светлая с пятнышками, нерпячья — косой шар с козырьком и меховыми же бубенцами. В общем, броня и каска. Под мышкой сумка с золотистыми и сложными для собачьего описания железячками и свисающим ремешком.

Николь она тоже подбирала под мышку, и та глазела черными глазками и семенила вхолостую лапками. Вот, кстати, откуда аромат! Рыжик наивно думал, что Николь умеет «пользоваться парфюмами», а она просто, как сказал Таган, «натягивала» запах хозяйки. Стриглась подо льва, то есть оставляла круглую гриву и манжетки на лапах, а все остальное брила до волнистой розоватости... (тошно, не могу!) ну и носила кафтанчики или тулупчики, как правильной... Ярко-синий с лжекарманчиками, погончиками и резинками на штанинах. Какой-то еще юбочковидный, с меховыми манжетками и шнурковой затяжкой вокруг хвоста. И еще с тапочками... Меня просто трясет, когда Альбина говорит этой Николи: «Фу!»

Руслан был рослый, добротнейший и, как собака вам говорю, предельно-породистый. С крепким лицом, литым и рельефным одновременно, с подбородком замечательным, синеглазый, с черными усами и плотными, коротко стриженными волосами — окрас соль с перцем, перца больше. Выглядел моложе Альбины, и весь какой-то сытый. Говорил негромко, чуть заикаясь. У него было два дела: ходить от Альбины на сторону и покупать технику — катера, машины и снегоходы. Компанию любил, умел с мужиками посидеть, но всегда имел святое одно дело, от которого плясал в планах. Называлось оно: «Перевезти Альбину». «Ща, мужики, все можно. И посидеть можно. Я только Альбину перевезу...» Будто она была гарнитуром с сервизом, который нужно без конца перемещать.

Он ее перемещал то из дому «до бабушки», то от «бабушки до внуков», то от «Ларисы» до дому. Перемещал с сумкой, розовым телефоном и подмышечной Николью. Перемещал постоянно: то в ее магазин «Клондайк» («Колондайк» — в народе), то в совет, то в несвет, а то готовил школьникам к «Году животных»,

потому Руслан освобождался только когда переменял Альбину окончательно и убеждался в ее полной общественно-семейной загруженности.

Альбина была из тех, кто расцветает на людях, словно ей скучно в поселке, и она, выкатясь от телевизора на свет, стремится и там продолжить цветной пыл и гомон. Надо спектакль в клубе — поставит. Какая-то комиссия — она там обязательно. Придет с папкой на локте: «Где у вас тут щиток, Руся, посмотри». И говорит так с напевом, с посылком... «Как ребеночек?» И улыбается завораживающе. Глаза светятся, ресницы распахнуты. «Да, сейчас налог вводится, надо кошечек заявить и собачек всех, не забудьте. А вот брошюра. Мы тут с собачкой на выставку летали. Полистайте и приобщайтесь». Старшой, помню, брошюру выкинул в снег, и я как сейчас помню странные буквы: «West-Sibirian animals under protection». Дальше, правда, пошло легче: «Региональная организация защиты животных. Центр правовой зоозащиты... Основное преимущество свободы — это то, что высшая граница обязанностей человека — позаботиться о правах животных. Когда это право на свободу гарантировано, то отпадает ответственность человека за дальнейшее наполнение... (Действующий закон о благосостоянии и здравоохранении животных 1992 г.)». Видимо, вкралась опечатка, потому что после слов «За дальнейшее наполнение» исчезли слова «нашего с Таганом таза...» Тагану показать побоялся.

Одно время Альбина прочила Старшого в главы поселка — «мужик крепкий, ответственный... Что ж вы в тени-то сидите?» Жена говорила: «Иди, чо ты муляешься?! Все вверху решается. Э-э-э... бродень латаный. Так и будешь последний воз в озо. Все без тебя поделят, пока ты тут с псарней жмешься, кого взять, кого дома оставить».

Альбине с Русланом Старшой и сдал немногочисленных своих соболей и получил аванс — остальное ожидалось после апрельского аукциона, как раз во время завозки в тайгу. Но Альбина «вошла в положение, тем более травма», «мы же люди», и ссудила Старшому на все затраты, включая выкуп участка, и даже дала свежий бензин на заброску, вычтя из суммы. Возвращать предстояло следующей зимой «по результатам промысла».

Удивляет неестественность, дурная легкость, с которой липнет к недалеким собакам и людям все расхожее и наносимое ветром. Будто чуют лакомство ветерка, грозящего прибавкой... Вроде вещь незначительная, дрянная и чуждая, но становится вдруг темой для упорного внедрения. Высшей воли нет поставить за слон, и на то и расчет, что по занятости и бездумию попустит народ.

— Дело в том, что животные такие же члены общества, как мы с вами... Пока мы сами не пойдем, ничего не будет. И надо, чтобы мы — Иванов, Петров, Краснопеев, поняли... С себя начните. Заходите, заходите, не стесняйтесь... Это всех касается. С себя начинаем. Собака — это личность, а не частная собственность... Надо осознать равноценность... так, где очки?.. главных потребностей людей и собак, например, все мы любим вкусно поить и культурно отдохнуть... Поэтому — слушайте, вот нашла — равноценность в потребностях животных и людей... Потребность в свободе и праве на благосостояние... И я вам скажу — в цивилизованный странах давным-давно введен запрет на купирование ушей и хвостов... Вы зря смеетесь...

Я вдруг подумал, а почему Старшой все на снегоходе да на снегоходе? Травматический радикулит... Из-за Ерархической... На лабаз полез и хряпнулся.

Великое дело лестница. Человек доломал свою. А наша-то целенькая стоит. Так-то, Альбинушка...

С новостями становилось все хуже. Кексу было не с лапы. Перелезание вольеры выглядело неестественно, и остальные собаки понимали, что Кекс не идиот — одно дело его прижучили на пробежке, а другое — сам лезет в объятья.

Не знаю, в каком новомостном голодании (во завернул!) мы бы все оказались, если в один прекрасный вечер не подъехал бы Курумкан с самогонкой и не завязалась посиделка.

Видимо, Старшой не все мог говорить при Валентине, и вытащил Курумкана «покормить собак». Они зашли к нам в вольтер. Было уже темно, только неоновый фонарь на столбе освещал заснеженный двор. У Старших топились печка, и с прозрачной легкостью пятнисто неслись по освещенному снегу тени от дыма.

Старшой принес кастрюльку и разложил корм деревянной лопаткой в помятые наши чашки. Курумкан был раздосадован происходящим, говорил громко и сбивчиво:

— Ты ч-о не сказал, что деньги нужны? Чо эта Альбинка! Объяснил бы чо-ково. Тоже друг. Я от своей узнаю, что ты встрял. Альбинка эта... Чо Альбинка эта! Свином клет... тьфу, клином свет на этой Альбинке?

Я не сдержался и хрюкнул от смеха. Чо за «клет» такой? Видимо собачья кличка. «Клет, ко мне! Свином!»

— Ты ч-о-о? — обернулся на меня Старшой.

— Да кость наверно — сказал Курумкан.

— Торопится, блин! Ешь давай добром. Давай, Таган, еще подложу.

— Ну, хороший кобель. Дак короче, чо там вышло-то?

— Да эта Ева... как ее... Ева, Архиповна короче, классная, видать Альбине пожаловалась на меня, ну что Рыжика убрал. Никитка сочинение написал... про воровство им задали.

— Да ты чо!

— Ну! «Папа убрал Рыжика, он ворюга. По капканам пошел»

— Молодец!

— Ну! Вопшэ хороший парнишка. Ну и короче, та давай звонить, мол, зачем зверюшек обижаете! А я ее послал. Еще и кобылой назвал.

— Держи пять! Нормально.

— Трубку бросил, а кнопку не нажал, видать. Х-хе! Она слышала. Ну и, видать, заело. А Альбинка ее поддерживает. Не знай, чо уж у них там. Она же везде лезет. Ну, ты в курсе про Вальку. В общем, она мне денег дала под проценты... Завтра приготовит... А тут с совета позвонили, короче, вызывают. На ковер. Кузьмич сказал, Альбинка как председатель комиссии там... ну по четвероногим... Права животных. Я серьезно. Кузьмичу это на хрен не надо. Но деваться некуда. Ну, вот и выходит. Она, по-моему, специально... Чтоб вот к ней на поклон. Любит.

Курумкан покачал головой:

— Ну да. Некстати... А с другой стороны, кто она такая-то? Пошли ее в пень. Я вообще не понимаю, чо ты к нам-то не пришел, чо бы не дали бы денег? Собрали бы.

— Да это легко сказать... Дали-собрали... Пушнину толком не сдавал никто. Ждут Кузькиных.

— Слушай, — прищурился напряженно и холодно Курумкан, — а не может она специально так сделать? У ней же Янка за Коршунячьим племяшом, а те на участок целят...

— Да! Да! — с жаром подхватил Старшой. — Как с языка снял! Я тоже подумал! Чтоб Коршунятом отошло. А мне чтоб отлуп дать — эту комиссию придумали.

— Ну да! Знают, что ты им козью рожу устроишь, а она тогда — хрен вам, а не денюжки! Ну! — с гордостью сказал Курумкан.

— Хрен их разберет. — свернул разговор Старшой. — Лан, пошли.

Я ничего не понял. Едва они ушли, видимо, в их же дверь вырвался Кекс и, пробегая мимо вольтера, крикнул:

— Не могу говорить. Обложили. Короче, Штаталиха Старшого в совет вызывают за Рыжика! Представляю, как он ее пошлет! До связи!

9. ВИЛКА С АЛЬБИНКОЙ

— Куда он поперся? — гулко сказал Таган из будки.

— В совет к Альбине.

— Кой совет? Чо он с ней возится? С этой росомахой?

— Да он у нее денег занимает и бензин.

— Ясно-понятно. Нашел к кому в кабалу лезти! — Таган вылез из будки, потянулся и метнул снег задними лапами: — у Петровича бы занял, или у Курумкана, он нормальный мужик. Чо, не дал бы бензин?

— Да у нас «скандик», он на девяносто пятом пашет, — в тон отвечал я.

— Понабр-р-рал, — раздраженно отвернулся Таган. — Теперь возись, как жук в навозе... Не мое дело, но я бы эту крякву сразу бы на хрен отправил... пускай пудель свою охраняет. Знаю, какая там у них защита. В городах. Надоел кобель — отдал куда надо, чужой дядя укол всадил — и все. Усыпил... Хорошенький сон. В тайге сам бы убрал, а тут на другого свалил. Чтоб за больным не ходить. Вот те и права... Обожди-и-и... Они с людьми скоро так же будут. Дойдет! Чо ты думаешь? Дойде-е-ет! Помяни мое слово. Хе-ге... Сами себя усыплять будут... Так что тут... дорогой мой Сережа... — и он задумчиво растворил рассуждение в многоточье... А потом вздрогнул, как очнулся: — И эта еще харза лезет... Сиди вон, пиши закорючки свои в бумагах... Мешок сечки, мешок гречки... Без тебя не разберемся... кого казнить, хе-хе, кого миловать... Не-е, я сра-а-азу сказал, я... как увидел эту Нинель в тулупе... Наноль... ли, как ли ее.

— На ноль! — прыснул я.

— Сучку-то эту... Яблочко от яблоньки... Не зря говорят, какова сучка — такова и хозяйка. Тут ясно все, — наморщился, вспоминая. — На кудрях-то эта... Щуплая...

— Да оне обе на кудрях. Николь, — подсказал я.

— Ну, Николь... — Таган хрюкнул презрительно и покачал головой. — Сама с хрену душу, а еще в собаки лезет. Наш Кекс и то больше вешает. Так доведись на улице встретить, только бы вякнула. Николь... А Валькину половину выкупать наа. Наа. А то там такие соседи, что наперво у себя всю фауну кончат, а потом к нам полезут. После них кака зверь-птица? — произнес он в одно слово, и я начал представлять себе эту сказочную Зверь-Птицу, и как по ней работать, а Таган продолжил: — Баз понастроят, турья нагонят. Вообще житья не будет. Хрен чо живое пролетит. Выкупать наа без булды... Тут я Старшого поддерживаю... — и Таган сменил тон на тягуче-недовольный: — Хотя чо-то последнее время... Не знай. Ково он к имя лезет? Он думат, с имя делить будет все... Он для их чуждый. Все равно оне не возьмут его. Нами бы занимался... А мы б уж не подвели. Не-а. Бесполэ-эзно.

Потом еще раз пронесся Кекс и сказал, что Старшой «все выслушал не вякнул... Но участок спас!» — радостно домякнул Кекс.

Таган сидел-сидел в будке, а потом не выдержал и вылез:

— Ты знаешь, я никогда не лез к нему. Соболя загнал, сохата поставил... Мое дело поставить. А чо там потом Старшой... Куда это мясо девать будет... куда чо уходит... Мне это... знаешь... — отрывисто и с силой говорил Таган. У него, когда он расходился, появлялась такая лающая, что ли, манера, если так можно сказать в собачьем случае.

— Ты думаешь, он за нас заперезживал?! — напирал он на меня. — Да ну на... За участок свой — больше ни за чо! Что границы подперли с Коршунятами. Он же к ним мостился дела ворочать, а они его в грош не ставят.

— Да я тоже не понимаю. — поддакнул я: — Мы с Баксом (коршунячий пес) деремся, а он с Коршунятами за руку здороваются! Как так?! Ниччо не пойму.

— Да я ду-умал... ду-у-умал, — сказал Таган умудрено. — И все понял. Пони-маешь, для него не мы главное! Не мы, а они! Чтоб его за ровню держали! Иначе его заедат!

10. СОХАТ

Валентин уехал. Нога у Старшого помаленьку зажила, хотя хромал он еще сильно. В апреле поехал завозить груз и, зная, как засиделись мы в деревне, взял нас с собой. По дороге Старшой останавливался и терпеливо ждал, пока догоним. Погода стояла чудо. Днем солнце топило снег, а короткие и звездные ночи запекали плавленный слой до каменной крепости. Потом вдруг чутко заморочало, нанесло снежок и наст припудрило — снежная подпушь покрыла твердую корку. Прозрачный морочок так и висел, оберегая от солнца и даря мягкую дорожку. Дни стояли длинные, полные света и оживающего дыхания тайги. Вечерами за рекой ухала неясность, а с утра дятел, едва прикоснувшись клювом к сухой и гулкой елке, впадал в такую дробную судорогу, что когда строчка-очередь замирала, накатно шло над тайгой стоверстное эхо.

На третий день в хребтовой избушке Старшой пилил доски, Таган под шумок куда-то убежал, а я тоже пошел подышать-прогуляться, пока держит наст. Пила раскатисто отдавалась по лесу, и когда я отдалился, стал слышен далекий лай Тагана. И лай, и звук пилы, между которыми я оказался на линии, были необыкновенно разлетными и слитыми в ровную песню. Я понесся к Тагану и долетел быстро, несмотря на то, что уже припекало, и в ельниках, где наст слабее, он ухал пластинами и приходилось карабкаться.

Когда лай был близко, я увидел сохатиный след. На краю гари у ельника по брюхо в снегу стоял сохат, здоровый бычара, а у его морды, на одном с ней уровне, уверенно и с придыханьем работал Таган. Сохат несмотря на наст кидался на Тагана, делал могучие выпады передними ногами, обрушивая точеные копыта в те места, где только что стоял Таган. Я подскочил и бросился на подмогу. «С морды работай!» — крикнул Таган. Мы бегали поверху, и сохачья морда была напротив наших: это поражало, будоражило и хотелось впитаться в морду. Сохат все понимал и медленно сдвигал поле боя с края гари в ельник, зная, что на открытых местах наст крепче, а в тени слабее. Крутя зверя и уворачиваясь от копыт, мы незаметно оказались в плотном чернолесье. Таган сделал выпад к сохачьей морде, сохат бросился вперед и, ухнув до пола, оттолкнулся и вновь вознес копыта. Таган отскочил и провалился в ослабший наст. От сокрушительно-плотного удара по голове он взвизгнул и осел, вмявшись в перемороженный крупитчатый снег... Каждое копыто работало свою полосу, параллельными очередями ложась на Тагана, который все проседал и мелко тряс головой. В этот момент на меня обрушился моторный рев, и подлетевший Старшой разрядил обойму карабина и, швырнув его в снег, бросился к Тагану. Закричал: «Тагаша, Тагаша, родной!» и, косо завалясь в рыхлую яму, взял его на руки и попытался потащить пешком за пять верст до избушки. И провалился, заковылял ногой, рухнул с Таганом, лицом в его лицо, в его лоб, мягко и кроваво ходящий на шкурке, в проломленный середовой шов, который так любил гладить, в глаза, в кровь и шерсть. И хрипло в рык зарыдал, трясясь и лупя в наст кулаком.

Таган еще дышал. Старшой снял куртку, постелил ее в нарточку, положил в него Тагана, который то открывал, то закрывал глаза и часто-часто вздрагивал веками. Аккуратно донеза до зимовья, Старшой занес любимую собаку и положил на нары на шкуру. Я был рядом. Таган лежал на боку, и его передняя верхняя лапа, сложенная уголком, тоже вздрагивала... Трудовая лапа с черным шрамом по седому ворсу, с темно-серыми шершавыми подушками, с рыжеватой ржа-

вой шерстью меж ними. Таган вдруг дробно застучал зубами, вытянул лапы и умер.

Не могу... По людям так не плачут... как по нас... если мы того стоим.

— Харагочи Берегу!

— На связи, Берег, — серо и глухо ответил Старшой.

— Вова, чо не выходишь! — высоко, певуче и гибко говорила Света. — Мы уже эта... волнуемся, може, чо с ногой неладно? Нога как?

— Да какая нога!? — вскричал Старшой. — Тагана нет! Сохат стоптал.

— Убежал за сохатыми? Не поняла! Повтори!

— Убил Тагана сохатый! Все. Нет Тагана. Погиб! Никитке не говори. Сам скажу. Как поняла меня, прием! Все. Завтра домой. К мясу еще. Не буду больше говорить.

Тихо было в избушке.

Старшой сидел на чурке в пол-оборота к нарам и, прислонясь к ним так, что правая руку лежала вдоль нар с краю и касалась Тагана, голову которого он накрыл потной своей рубахой. Тихо и бесполезно лился немеркнущий и недвижный весенний свет в затянутое пленкой окно.

«Серый, поди к мне», — вдруг сказал Старшой. Я подошел и аккуратно лег рядом, стараясь ни шорохом, ни вдохом не нарушить неистойвой тишины. Я лежал, почти не дыша, вытянув и скрестив передние лапы и положив на них голову. Было невысказанно тихо, как бывает, когда меняются смыслы. Дико было пошевелиться, но казалось, должно стать еще тише. И даже весенний синеющий свет звучал, мешал найти эту тишину, нарушал таинство. И я закрыл глаза. Сдвинулись планеты в небе, пошатнулись орбиты... не знаю, что стряслось со Вселенной — рука Старшого легла на мою голову.

Мне всегда казалось, что есть и есть *они*, огромные взрослые собаки, в тени которых суждено мне учиться и расти, набираться науки промысловой и жизненной. И я никогда не задумывался, как жилось Тагану, как вообще живет тем, кто старше и сильнее, и под чьей тенью ты существуешь, ощущая над собой огромность всего того многослойно-бескрайнего, что наполняет жизнь правом на будущее. Конечно, брезжило ощущение, что над головой таких вершинных существ, как Таган — разве только разрежение, космический вакуум... Сейчас, когда монаршей дланью Старшого подняло и вытянуло меня на иную орбиту, озноб этого разрежения я ощутил своей головой. И огромное что-то перешло ко мне от Тагана и означило, что мой черед настал.

Как-то я слышал разговор: Старшой вспоминал молодость и рассказывал, как ему нравилось ночевать в дороге, в незнакомой избе, и с какой пожизненной благодарностью после невысказанной усталости, ночи и снега вспоминались такие ночлеги. А потом и к нему под ночь завернул измученный мужичок, перегоняющий за триста верст снегоходило. И Старшой всей плотью памяти ощутил, что значит ночлег, но уже с другой — согревающей, спасающей и утоляющей стороны. Теперь мне стало понятно, о чем говорил Старшой.

И с новой силой я ощутил, что без Старшого не проживу, но и он без меня не сможет. Что есть вещи, в которых он слеп, безрук и безног. И что как это сильно, когда над тобой... разрежение.

А ведь я должен помочь ему. Разве он чует запахи этой земли так, как мы? Земля моя... Разве он слышит, как оживают твои ключи весенней ночью? Как береза отходит от сна и готовит соковые свои жилы? Как набухают железки копалух и глухари чертят крылами кровельно-крепкий наст? Как соболята зачались в соболихах, а под метровым льдом заходил в синей тьме хайрюз с бирюзово-пятнистым плавником...

Как помочь Старшему рассчитаться за участок? Ведь я могу только хорошо искать соболей. Но для этого нужен поздний основной снег. Чтобы для начала лишь маленько выпал, присыпал моховый ковер, и забегало шелковое воинство парными стежками... И чтоб месяц или полтора не валило. Тогда я все смогу. Все.

Хотя и это не даст ничего, если не будет урожая ореха в нашем кедраче — чтобы со всех окрестностей, с гарей и лиственничников собрался там соболь. И чтоб не было в окрестностях мыши, и голубика не уродилась на редколесьях, не смашила соболя. И чтоб сам соболь вывелся, чтоб щенки не померзли. И чтоб и птички, и мышки нашлись на прокорм... Тогда я все сделаю! У меня ж четыре ноги!

Но и этого мало. Все пропадом канет, если за морем цену на пушнину не поднимут. И если с мышками-копалушками еще можно договориться, то тут я бессилен. Разве только с ветрами потолковать, да пред солнышком на колени рухнуть. Невозможно... Непосильно. Но я должен.

Я спал, когда зашел Старшой, тихо взял тело Тагана, вынес на улицу и положил в груженую нарту, завернув в брезент, как в знамя. Я вышел тоже и до утра пролежал рядом на снегу.

11.

Синий необыкновенно неподвижный свет. Просторное дыхание от самых далеких гор до Батюшки-Анисея. Плоское и огромно-белое поле Енисея до горизонта. Сосредоточенный глубинный звук стекающих в него ручьев. Запах печного лиственничного дыма, смолистый и сладкий. Рокот поселкового дизеля, слышный только в обостренно-раннюю эту пору. Где-то вверху по Енисею с ноющей отяжкой стрельнувший лед. С древней и сказочной первозданностью пропевший петух...

Даль огромно и настойчиво дышала воздушно-мягким воркотком, будто варились в ее огромном котле что-то гулкое и нарастающе-таинственное — на льду напротив поселка бесстрашно и истово токовал косач, то кланяясь и пробегая, то сидя неподвижной и черной точкой.

Ранней и светлой этой порой, пока держал наст, Старшой погрузил в коробушку мертвое и мерзлое тело Тагана, лом, лопату и медленно поехал вдоль берега в сторону Енисейских яров, где на полетной высоте черно обтаяла кромка и можно было предать тело погибшего друга земле и камню, будучи уверенным, что останки не отроет медведь или другой голодающий зверь. Старшой давно скрылся за вытаявшей каменистой коргой, но еще долго разносился по округе грохочущий шорок снегоходных лыж и коробушки, и казалось, волокут по насту оглушительное листовое железо — настолько звук двигателя выпал из дали, как лишний и суетный.

Примерно в это же время молодая серая собака выбежала из поселка и отправилась в тайгу по каменно-крепкой снегоходной дороге, вытаявшей и возвышающейся над просевшим снегом реки.

Дорога поднялась с реки на покосы и, обратясь в лесу в прямоугольную канаву, ушла по распадку и поднялась на таежный взлобок, где Серый с дорогой растался и побежал по насту, время от времени останавливаясь, чтобы вслушаться в запахи и звуки, наплывающие крепкими волнами. Тревожно было у Серого на душе, потому что одно дело решить, а другое — исполнить. Хоть Зверь-Птицу какую встретить... Да хоть бурундука, они уже повазаться должны... Но никто не встречался, и не с кем было посоветоваться, и некого попросить о помощи. Серый выбежал на тундрочку, окруженную ровными сквозными кедриками и увидел на краю темное пятно. Это вытаяла высокая кочка. Серый подошел, лег на нее, и так терпко запахла она жизнью, оживающей землей, что загрузил он бесповоротно.

— Ох, не про нас... Не про нас эта радость... Тундрочка ты тундрочка, такая ты хорошая. Такая красивая, проглядная, столько ягоды можешь дать, столько накормить, скажи, что делать-то. Начать с какой стороны?

И вдруг Тундрочка ответила:

— С правильной ты стороны начал, где кочка вытаяла, где мне тебя слушать лучше. Ты хорошая собака, отзывчивая... Знаем мы твои беды-горести, да только дело у тебя трудное, больно на многих завязанное...

— А откуда вы знаете?

— А кедровки на что?

— Понятно... А мне помочь Старшему надо, иначе беда будет, и с нашим участием, и с нами.

— Да, понимаю. Хорошо, Серый... Смотри, сейчас сюда подойдет один зверь, он у нас по хозяйственной части. Он хоть и невелик, но дело знает. Тем более только из отпуска... Полоско, можешь подпрыгнуть сюда?

С сухой наклонной кедринки прыгнул увесистый бурундучина и, солидно приблизившись, замер.

— Значит, это вот Серый... — сказала Тундрочка.

— Как же слышали... хе-хе...

— Ему надо помочь... Речь идет о соболе. Ну и... в общем, поработай с собакой.

— Я так понимаю, что речь идет о соболе... э-э-э... на начало двух тысячи восемнадцатого года. Это у нас... так-так-так... пятнадцатый участок... Конечно, помочь поможем... и мышом, и дикоросами. Но вы собака полета, а я зверек практический, и мне надо понимать все конкретно, что, куда и как. И что чем закрывать. А то в прошлом году у нас с голубикой такие накладки из-за пожаров вышли, что на мне до сих пор две тонны висит. А самое главное — тут очень много согласований. Очень. Вы понимаете, что если мы убираем мыша с гарей, то нам надо его куда-то девать. Мы, например, можем его переместить как раз на пятнадцатый участок, чтобы... он, так сказать, приманил соболя. Но мы понимаем, что когда снег оглубеет, соболь его ись начнет и в капкан не пойдет. Мыша, в смысле, а не снег. Вы сами охотник. Это все надо проработать... Но хорошо, задачу вы мне определили... так что будем решать, хотя сразу предупреждаю — мне время понадобится. Ну и вообще... Вы поймите, мы можем добиться высокой урожайности кедра на пятнадцатом участке. Но все это не сработает, если мы не создадим условий для выкармливания приплода. И я вам назвал только один момент. Так что переговоры, переговоры и переговоры... Вы даже не представляете, на что замахнулись... Тут есть вещи, которые, так сказать, от светил зависят... Тут... подальше положишь, хе-хе, поближе возьмешь. Подальше спросишь, поближе ответят... Или нет... Ближе спросишь... Но не будем, как говориться, растекаться мышками по древу... А я со своей стороны сделаю, все от меня зависящее в части... — Он вдруг раздумал доводить мысль. — И в матчасти...

— А как вас найти?

— Да я сам вас найду. Ну, я пошел, — обратился он к кочке.

— Да, иди, — сказала Тундрочка и обратилась к Серому: — В общем, он сейчас все обсчитает, а тебе надо еще кое-с кем потолковать... Я одна тут не решу ничего... А ты сейчас... — Тундрочка сделала паузу. — Покопай под снегом рядом с кочкой.

— Здесь?

— Здесь, здесь...

Серый раскопал, расскреб настовую корку. За ней пошел в песок перемороженный снег, который он быстро разгреб и докопался до подстилки, до желто-зеленого кристально проколовшего мха, на котором лежали крупные красные клюквыны, замороженные до стеклянности.

— Ну что? Что там?

— Клюковка.

— Теперь очень аккуратно, как ты умеешь, возьми зубами клюквину и...

— Съесть?

— Какое съесть?! Все бы вам есть... Возьми и... только не раздави ее и не растопи... Выйди на наст и брось ее вперед перед собой. Вот так вот! Все... Теперь беги.

Серый все сделал, как велела Тундрочка, кинул вперед ягоду, и она покати-лась по насту, прозрачно-красная с драгоценной мутинкой. Солнце наливало ее светом, она горела изнутри и быстро катилась по алмазно-белому снегу.

Ягода катилась по лесу, но никто не попадался навстречу, и Серый снова за-печалился. Ягода тоже будто подустала и буднично остановилась в снежной ямке. И Серый тоже остановился в недоумении и огляделся вокруг.

Просторный и растрепанный кедрач был с необыкновенной отчетливостью вре-зан в слепящий от солнца снег. Вдруг кто-то стукнул костяными палочками. Се-рый тихо пошел на стук и замер. Огромный черно-сизый глухарь шел, пальчато растопырив хвост, свесив плоскими веслами крылья и закинув голову с мохнатой бородой, кровавыми бровями и крупным белым клювом. Двигался он, то убирая, то расправляя хвост с той потусторонней медленностью, с какой цветки распус-каются в древних сказках. Сам хвост казался настолько твердым, а сизое перо на спине — настолько гладко-литым, что у Серого перехватило дыхание... Глухарь как-то особенно сильно запрокинул голову и перещелкнул клювом с гулким и ко-стяным звуком.

— Брат мой Глухарь, — сказал вдруг Серый, — не улетай, я тебя не трону. — И слово «брат» прозвучало с такой надеждой и силой смысла, что Глухарь, вопреки всем разговорам о его глухоте на току, не меняя позы и так же медленно идя, ска-зал:

— Конечно, не тронешь. Тем более сегодня и день такой... Особенный.

В это время с енисейной стороны раздался и широко прокатился по тайге кара-бинный выстрел... потом еще и еще... всего три, через равные и торжественные промежутки. И белую шапку уронила елочка, вздрогнув и скорбно замерев. На какое-то время замер и Глухарь, и Серый, и вся тайга. Потом зашумел в кедруш-ках ветерок и смял кроны. Ветру было хорошо шуметь в кедровых кистях, в длин-ных иголках. Чем длинней и гуще были иглы, тем полней и торжественней гуде-лось ветру, и Серый не мог понять, кто шумит: кедр или ветер, потому что шумели они нераздельно. Глухарь был настолько неподвижен, что Серому показалось, будто все уже было.

— Хорошее чувство, — негромко сказал Глухарь и снова медленно пошел, так что Серому пришлось тоже идти рядом. Он никак не мог поймать шаг, приладить-ся к Глухарю, но помаленьку подстроился.

— Главное, подстроиться... — сказал Глухарь и добавил веско и медленно. — Мы знаем Старшого. И тебя знаем. Ты хорошая собака. Мы тоже не изменяем. Что ты хочешь?

— Да вот мне, чтоб соболь вывелся и выкормился, а это, сам понимаешь, — мышки, птички, это раз. Ну, чтобы он собрался в кедрачах на Хорогочах... На правой стороне.

— Хорогочи⁹... Хорошее название. Да... Так что ж?

— Дак... Хотя бы это...

— Что значит «дык» и «хотя бы»? А снег?

— Да тут столько всего. Голова пухнет. Давай с малого начнем.

⁹ Хорогочи — переводится с эвенкийского как глухаринный ток. Река с названием и посёлок есть также в Амурской области.

— Я все понимаю — и про мышек, да, и про птичек. Чо да как... И где лиса, и где тетеревиатник, и сколько на них выводек уйдет... Никуда не денешься... Так что тут можешь на меня рассчитывать. Но остальное... Даже ягода... Не знаю... И не слушай ты этого Полоско... Он на складе орехов всю жизнь проработал... Договора, фактуры... Короче... Сейчас дам тебе перо...

— Так, а писать на чем?

— Писать не надо. Надо бежать, куда оно полетит. — И Глухарь покачал бородастой головой. — Хорошая собака, но...

— Глупая?

— Неважно. Слышишь, верховка¹⁰. Сейчас отпустит к обеду, а вечером уже плюс будет. Так что тебе успевать надо, не то встрянешь. Старшой потеряет, а у него на тебя сейчас вся надежда.

Глухарь выронил перо из хвоста, и оно сначала застыло в воздухе параллельно снегу, а потом полетело, покачиваясь, череном вперед. И Серый побежал. Долго ли коротко он бежал, но вывело его глухариное перо к огромной пустой полусухой лиственни. На высоте человеческого роста дятлы проделали дыру в срединное дупло, и из него торчал, высунувшись по пояс, очень темный и крупный соболина. Скуластое лицо его, сильное и гибкое тело — все настолько завораживало Серого, что он как окаменел. Соболю все время двигался, мялся, раскачиваясь наподобие маятника, клонился то вправо, то влево, словно его распирало от сил и от вынужденной неподвижности:

— Здравствуй, Зверина-Соболина, — еле сказал Серый Соболю, а про себя подумал: «Что же они все такие крупные сегодня? Как на подбор...»

— Ну, здравствуй, Серый, — сказал Соболю, мощно качнувшись вправо и тут же еще мощней влево. — Здравствуй... не ожидал?

— Не ожидал. Здравствуй. — ответил Серый и тоже немного качнулся вслед за Соболю, и ему стало неловко: «Еще подумает, что я под него подлаживаюсь».

— Подлаживаться приходится, — сказал Соболю и еще усилил размахку. — В одной тайге живем. В общем, слушай. Могу я собрать своих на Хорогочах. Могу. Мне свои ясашные сотни чем на капкан положить, лучше уж... под пули послать... Глядишь, и увернутся. Ребята храбрые и подготовленные. Так что соберу живым весом — а уж дальше сам управляйся. Только, чтоб собрать — их еще выкормить надо. Ладно, Глухарь птица серьезная, все сделает... А с мышом как?

— Да Бурундук сказал, что с мышом и дикоросами поможет...

— Да чо этот Бурундук? — Соболю качнулся особенно возмущенно. — Не тот калибр. Ты не понимаешь... Есть бурундуки, а есть... фигуры, над которыми... вообще... — Соболю метнулся дважды. — Вакуум. Мы здесь сколь угодно можем рассуждать... Только что мы видим-то отсюда? Надо идти к тому, кто далеко видит. Я тебе сейчас дам одну штучку, называется коготок...

Серый хотел крикнуть: «Знаю, знаю! Он покатиться или полетит! А мне за ним!», но почему-то сдержался, больно сильно тот раскачивался.

— Держи — сказал Соболю. — Вставь в свой коготь. Снизу. До щелчка. Все. Отлично.

Не успел Серый понять, почему он не залаял ни на Глухаря, ни на Соболя, как невиданная сила в лапе подхватила его, и он побежал, видя, как сереет небо облачками и чувствуя талое тепло верховки и особенно оживающие запахи... Через считанные мгновения увидел Серый впереди сияющий просвет, следы знакомой гусеницы, и вот он уже стоит на Енисейском Угоре возле самой оттаявшей кромки, на которой возвышается серая груда базальтовых окатышей. А впереди даль

¹⁰ В е р х о в к а — ветер, дующий с верховьев Енисея. Обычно это юг или юго-запад. Этот ветер несёт тепло, летом дождь, а зимой снег.

неоглядная и воздуш дрожит и плавится от теплого ветра. Да вдали, на горизонте, ломаются и нарождаются миражные слои дальнего мыса, мазки, штрихи, черточки — не то озера с деревьями, не то города неведомые. Подбежал Серый к каменной груде. Лег рядом и заскулил.

— Серый, Серый, — раздался вдруг из-под ног зычный и густой голос. — Слезами горю не поможешь, а как ты Тагана любишь, мы и так знаем. Сами такие.

— Да кто ты? — тихо спросил Серый.

— Я тот, который глядит далеко. Я Енисейный Угор. Да только моей далью можно лишь до мыса дотянуться, а тебе другое нужно...

— Куда же мне залезти? — воскликнул горестно Серый, вскинув голову на мачтовые лиственницы с пупырышками почек. — Я же не Соболь и не Глухарь. Где мне на них забраться?!

— Забираться не надо. Спустишь с меня.

— Как?

— Так. Вон по распадку, где Старшой камни с Ляминой корги возил.

— Батюшко-Угор, а что там, над мысом, за нагромождение такое, слоями такими ходит, будто на город похоже?

— А это Город Чемдальск. Чем дальше спрос, тем ближе эхо.

— Коленвал какой-то опеть... — сказал Серый.

— Спускайся давай вниз, а то правда...

— Ну, спущусь, а дальше-то что?

— А ты сначала спустишь, а там поймешь.

Серый спустился по старшовой снегоходной дороге. Когда выбежал на паберегу, увидел камень, выпавший из коробушки. Его наполовину втопило в снег весенним солнцем.

Серый подбежал к Енисею и увидел заберегу — первую в этом году и вторую в своей жизни. Возле изгиба берега зеленел снег и в ямке набралось зеркало бирюзовой водицы. В воде шевелилась букашка. Серый попил водицы и сказал:

— Эх, спасибо...

— Пей, пей... Ты же набегался.

Серый вздрогнул и оглянулся. Голос был со всех сторон, и выходило, что он внутри голоса.

— Ты кто? — спросил он.

— Тот, кто тебя напоил.

— Заберега?

— Хм... — тихо рассмеялся Батюшка-Енисей, — собака ты, собака. Я Батюшка-Анисей. Здравствуй, моя.

— Так-так-так... — проговорил Серый и на всякий случай быстро лег, есть такое собачье падение в клубок. — Я полежу, а то... я запутался.

— Я тебе помогу. В чем забота?

— Мне Старшому надо помочь. И Бурундук тут, и Глухарь, и Соболь... ну, они все вроде хотят... Ну, чтоб на Хорогочах соболь собрался. А вот со снегом как быть-то?

— А чо те снег? Пусть Старшой ловушками работает!

— Ловушками! — горько сказал Серый. — А от меня-то какой тогда прок!?

— Как какой? Ты со всеми договорился, а дальше уж Старшой пусть разбирается.

— Батюшка-Енисей, нельзя мне так! Как ты не поймешь! Ведь я все это затеял, чтоб помочь, чем могу. Я не по сделкам! Я соболя ищущу!

— Серый ты, Серый... Так договориться не каждый делец сможет... Ладно. Что у тебя там? Снег?

— Снег, Батюшка. И еще... страшно сказать...

— Можешь не говорить. И так знаю. Санкт-Петербургский пушной аукцион.

— Он, Батюшка!

— Слушай меня внимательно, Серая Собака. Что я могу? Я могу попозже встать, пораньше пойти. Понятно, воды много, по осени остывает, тепло держит... Но это все, так сказать... подогрев местного значения. А снег... — медленно сказал Енисей, — это уже общее круговращение воздушных масс. Тут как солнышко ходить будет. Так старые люди говорят... А еще и теплые весна-лето нужны... Погоди, я сейчас лопну коло Рябого камня, а то поддавят. Не пугайся.

Раздался раскатыстый хлопок треснувшего льда. Ветер продолжал дуть с устойчивой силой, и по Енисею пятнисто неслись облачные тени.

— Эх, хорошо-о-о... Дак вот, тут уже дела космические... Тут надо спрашивать у того, кто к небу поближе. А это Главный Саянский Хребет.

— Ой-ей-ей! — заплакал Серый, — не добежать никогда...

— Я сам спрошу.

— Дак это ж далеко!

— Серый ты, Серый, — сказал Батюшка-Енисей и попросил Верховку погладить Серого. — Для меня это недалеко.

— Почему? — спросил Серый.

— Дак... лежу я тут.

— Ой-ей-ей... — сказал Серый, — у меня не получается понять...

— Ничего, ничего. Я лежу. И ты лежи... И знай, что минуты не пройдет, как Саяны услышат мою просьбу. Считай до шестидесяти.

— Кого?

— Да никого... Никого... Все. Все, моя... Уже шевелят ледниками. И уже отвечают.

— Что? Что отвечают?

— А отвечают, что имя до Солнышка так же высоко, как и мне, бескрайнему...

Серый уже даже не скулил, а просто лежал, подставив морду, и теплая Верховка матерински оглаживала его голову, трепала острые и чуткие уши, шептала: «Не печалься, главное, верить... и все получится...»

— Серый, — вдруг сказал Енисей грозным и дрогнувшим голосом.

— Да, — восторженно сказал Серый.

— Видишь ту торосинку на са-а-амой середке? — спросил Батюшка-Енисей. — Беги и возле нее остановись.

Серый ничего не спрашивал, а добежал до торосинки, оказавшейся огромной грядой сине-зеленых торосов и остановился. Облако, накрывающее полреки, вдруг отошло, и снег залило таким ослепительным светом, что Серый зажмурил глаза:

— А вот и я тебя вижу. Здравствуй, Серый. — раздался ласковый голос.

— Здравствуй, а ты кто? А то я глаз не могу открыть, солнце так и лупит.

— А ты не смотри на меня, или... спрячься под наклонную торосину и увидишь...

Серый заполз под наклонную торосину и увидел над собой синий свет Солнца, прошедший сквозь енисейский лед.

— Ты мне что-то сказать хотел? — спросило Солнце.

— Да, я столько уже сегодня сказал, что... я... может... я полежу чуток...

— Ты просто убегался, Серый. Слушай, что я скажу. Я могу сделать теплую весну, могу теплое лето. Могу задержать главный снег и до конца ноября держать порошу в треть лапы. Могу модницам приморозить гузки так, что они в очередь станут за собольими шубами...

— Ах... — только и ахнул Серый. — Правда?

— Правда.

— А почему ты мне помогаешь?

— Я пока не помогаю... Но сейчас поймешь. Только ответь на один вопрос.

— Какой?

— Почему ты сразу меня не попросил?

— Как-то не решился... Я вот подумал, если Бурундук такую козу-капусту мне развел, то куда уж мне к Солнцу-то лезти...

— Милая ты собака. Вот ты сам на все и ответил. Ты все правильно сделал. С бурундучка начал, и всех выслушал и все выполнил... И знаешь что, из ягодки, которую ты не прокусил и не растопил — я тебе тундру ягоды на Хорогочи насыплю, из перышка, за которым ты бежал — глухариных выводков целую тайгу подведу, а из коготка, который ты на могилу Тагана положил — полные Хорогочи соболя пригоню.

— А...

— Но ничего не будет без... Знаешь, без кого?

— Без кого?

— Серая ты собака... Скажу я тебе. Все будет зависеть от нескольких... единственных... слов.

— Что я должен сказать?

— Не ты должен.

— А кто?

— Человек один...

— Этот человек Старшой?

— Он самый.

— Что он должен сказать? — замученно спросил Серый.

— Он должен помолиться о вашей Собачьей доле, — сказала Солнышко.

— Как же ему объяснить?

— А это уж не твоя забота.

Если прав Серый и есть бессмертная душа у картин, то одну из самых дорогих я вижу так.

Избушка на Хорогочах, с баней и лабазом. Вечер. Горящий костер. В костре, обложенном камнями, стоят на ребро три большие плоские базальтины. На них таз, в котором побулькивает разваренная сечка с щукой. У костра лежат Рыжик с Серым и пошевеливают хвостами. На чурке сидит Старшой, в его ногах Таган. Снег падает медленно и тихо на засыпающую землю. Шипит на красно освещенных камнях. Одной рукой Старшой чешет выпуклый и теплый шов на голове Тагана, а другой мешает Собачье.

Ты увидел, Серый?

Еще раз.

Горит костер

Падает снег.

И лежите: ты, Рыжий и Таган.

И Старшой вечно варит вам Собачье.

Ведь ты так хотел?

